

INSPIRIA

ПЕТЕР
ХАНДКЕ

УРОКИ
ГОРЫ
СЕН-
ВИКТУАР



INSPIRIA

Loft. Нобелевская премия: коллекция

Петер Хандке

Уроки горы Сен-Виктуар

«ЭКСМО»

1979, 1980, 1981

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Хандке П.

Уроки горы Сен-Виктуар / П. Хандке — «Эксмо»,
1979,1980,1981 — (Loft. Нобелевская премия: коллекция)

ISBN 978-5-04-111085-7

Петер Хандке — лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года, участник «группы 47», прозаик, драматург, сценарист, один из важнейших немецкоязычных писателей послевоенного времени. Тексты Хандке славятся уникальными лингвистическими решениями и насыщенным языком.

Они о мире, о жизни, о нахождении в моменте и наслаждении им. Под обложкой этой книги собраны четыре повести: «Медленное возвращение домой», «Уроки горы Сен-Виктуар», «Детская история», «По деревням». Живописное и кинематографичное повествование откроет вам целый мир, придуманный настоящим художником и очень талантливым писателем.

НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ: «За весомые произведения, в которых, мастерски используя возможности языка, Хандке исследует периферию и особенность человеческого опыта». В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-04-111085-7

© Хандке П., 1979,1980,1981

© Эксмо, 1979,1980,1981

Содержание

Медленное возвращение домой	5
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Петер Хандке

Уроки горы Сен-Виктуар

Медленное возвращение домой

*«И вот когда я, споткнувшись о тропинку, полетел кувырком,
откуда ни возьмись там появилась форма...»*

1. Доисторические формы

Зоргер пережил уже нескольких ставших ему близкими людей и больше не испытывал тоски, напротив, все чаще его охватывала самозабвенная жажда бытия и какая-то почти животная потребность в исцелении, давившая на веки. Способный погружаться в состояние тихой гармонии, передававшейся и другим, как это бывает, когда человек находится во власти некоей радостной силы, он, так легко вместе с тем обижавшийся, сталкиваясь с очевидными, неопровержимыми фактами, знал, что такое потерянности, жаждал ответственности и был весь переполнен поиском форм, их различением и описанием за пределами ландшафта, где обыкновенно («в поле», «на местности») и протекала его мучительная, хотя по временам и забавная, в редких случаях – увенчивающаяся успехом профессиональная деятельность.

Конец рабочего дня застал его в деревянном доме, выкрашенном в светло-серый цвет, на краю поселка, заселенного в основном одними индейцами, далеко-далеко на севере, на другом конце земли, где он вот уже несколько месяцев жил вместе со своим коллегой Лауффером, с которым они устроили здесь нечто вроде лаборатории; и вот теперь, закончив все дела, он натянул чехлы на многочисленные микроскопы и подзорные трубы, которыми он пользовался попеременно, и с перекошенным от постоянного прищуривания лицом, миновав образовавшееся на улице из света предзакатного солнца и летящего белого тополиного пуха эпизодическое пространство, напоминающее внеурочный коридор, направился к «своему» берегу.

Здесь, у этого пологого глинистого склона – он мог бы легко спрыгнуть вниз, – началась область безраздельного господства воды, которая неслась стремительными потоками, безлюдно сверкая, заполняя собою пространство до самого горизонта – всю поверхность континента от востока до запада, – равно как и долину, протянувшуюся с севера на юг, как будто кое-где заселенную, но совершенно необжитую, где теперь лились извивающиеся струи воды, не слишком сильные из-за наступающей обыкновенно в это время года засухи и прекратившегося таяния снегов и потому не могущие преодолеть широкую каменистую отмель и влажную грядку из ила и водорослей, через которую перекачивались лишь легкие длинные волны, разбивавшиеся о берег у самых ног Зоргера.

Вся эта толща воды казалась неподвижной, оттого что она была повсюду и доходила до самого горизонта, причем сами линии горизонта, являя собою некий феномен извилистости, были образованы не теми потоками, что стекались с востока и запада, а прочерчивались сушей, берегом загигавшейся там реки, вдоль которой росли карликовые тополя, или, быть может, складывались из зубчатых рядов низкорослых и не слишком густых хвойных деревьев, издавна производивших, впрочем, впечатление непроходимой чащи.

Река, ограниченная со всех сторон света тоненькими полосками суши и выглядевшая поэтому как какое-нибудь озеро, стремительно, хотя и незаметно для постороннего глаза, несла свои воды, текла быстро и почти бесшумно, если не считать легкого, как бывает в ваннах, плеска волн об илистый берег; двигалась вперед единой однородной массой, как некое чуже-

родное тело, заполнившее собою всю долину, окрашенное отраженным светом заходящего солнца и не воспринимающееся даже как нечто влажное, как инородный предмет, на поверхности которого рассеяны в неясном сумеречном свете отдельные островки, утратившие уже свою рельефность, да отмели; и только там, где над невидимыми ямами, впадинами и углублениями в песчаном дне образовались водовороты, взрыхлившие поверхность этой в целом однородной металлически-желтой массы, вода в бешено вращающихся воронках отливала не желтым цветом, а, поскольку здесь она находилась совсем под другим углом по отношению к небу, чем вся остальная водная гладь и отражала те его части, которые не были захвачены закатом, уходила в синеву, из недр которой доносилось тихое журчание, наподобие журчания ручейка, нарушавшее обычное почти что безмолвное течение волн.

Зоргер испытывал необычайное одушевление от одной мысли, что вся эта дикая природа, простирающаяся перед ним, в результате длительных, многомесячных наблюдений, позволивших ему (хотя бы приблизительно) познакомиться с этими формами и проследить за их возникновением, стала его сугубо личным пространством; постепенно все эти силы, принимавшие участие в создании образа ландшафта, обрели для него реальность, при том что он и не пытался включить их в свое представление, а познавал их одновременно с познанием этой большой воды, ее течения, ее кружения, ее стремительного бега, и эти силы, действовавшие некогда в том внешнем мире разрушительно (и, видимо, продолжающие и по сей день свою разрушительную работу), превратились, подчиняясь каким-то своим законам, в добрую внутреннюю силу и действовали на него успокаивающе и ободряюще. Он свято верил в свою науку, ибо она помогала ему всякий раз чувствовать то место, где он в данный момент оказался; сознание того, что он, именно теперь, стоит на пологом берегу реки, тогда как другой ее берег, удаленный на много миль и едва различимый за разбросанными островками, был все же несколько выше, и то, что он может отнести эту странную асимметрию на счет отталкивающих сил вращения земли, не беспокоило его, а, напротив, заставляло думать о том, что эта земная планета бесконечно цивилизованная и какая-то удивительно родная, отчего его духу сообщалась легкость, а телу спортивность.

То же самое он испытывал, когда на мгновение представлял себе, как несется над ландшафтом тополиный пух, а в сокровенных глубинах реки скользят по дну мелкие камушки, перекатываются, обгоняя друг друга, или даже медленно отрываются ото дна в плавном прыжке, опутанные тиной, подгоняемые естественными волнами, которые он не только мог представить себе – как они бурлят где-то глубоко-глубоко, сокрытые под гладкой поверхностью, превращаясь во встречное течение, – но и прочувствовать: Зоргер всегда старался, где бы он ни был, убедиться в реальности таких бурлескных, едва приметных процессов, которые порою были приятным развлечением, а иногда волновали и занимали его всерьез.

В последние годы – с тех пор как он стал жить почти что всегда один – у него появилась потребность в том, чтобы ясно чувствовать то место, где он находится в данный момент: осознавать расстояния, точно знать угол наклона, более или менее представлять себе материал и состав слоев грунта, на котором он сейчас находится, – хотя бы на глубине нескольких метров, – и вообще быть в состоянии сделать соответствующие расчеты и провести границы, с тем чтобы создать себе пространства в виде «чистых форм, существующих на бумаге», с помощью которых он все же мог, пусть не надолго, собрать себя воедино и сделать неуязвимым.

Зоргеру была нужна природа, но не только как чистое, природное пространство, он мог довольствоваться, например, и тем, что обнаруживал в каком-нибудь большом городе едва уловимый, пусть даже закрытый асфальтом бугорок или впадинку, мягкие перепады булыжной мостовой, втоптаные в землю за века фундаменты церквей или каменные ступеньки; ему довольно было, что он мог представить себе, как он, забравшись на самый верх какого-нибудь высотного здания, казавшегося еще недавно таким чужим, устремляется вертикально вниз, к самому основанию, и, предаваясь таким вот снам наяву, проследить, скажем, за линией гранит-

ного цоколя, – так появлялись ориентация и жизненно необходимое пространство для дыхания (и тем самым уверенность в себе), одно вытекало из другого.

У него была способность (впрочем, не постоянная, а спорадическая и случайная, хотя эта случайность обуславливалась характером его профессиональной деятельности, которая в некотором смысле сообщала ей постоянство) при необходимости призывать себе на помощь пространства мира, в которые ему доводилось вживаться по роду занятий, или просто так для собственного развлечения и развлечения других процитировать их – явив со всеми их ограничениями, параметрами света и ветра, показателями широты и долготы, положением небесного тела – в виде неизменно мирных, принадлежащих всем и никому картин событий, которые еще предстоит только выдумать.

В каждой новой местности, даже если та являлась первому взгляду обозримо-монотонной или по закону противоположности необычайно живописной, во всяком случае постижимо открытой, за этим мимолетным наивным ощущением знакомого пространства неизбежно наступало как будто окончательное тупое отчуждение, переживаемое как потеря равновесия, оттого, что ты вдруг оказался перед обыкновенными и к тому же знакомыми кулисами, испытывая в довершение ко всему мучительное чувство вины за то, что и «здесь ты не на своем месте»; поэтому со временем это превратилось у Зоргера в страсть: оставаясь снаружи и стараясь справиться с первой пустотой, суметь заполучить обратно эти так стремительно теряющиеся пространства посредством созерцания и зарисовывания; уже много лет бесприютный и не имеющий, стало быть, возможности после таких туристических неприятностей, доставляемых разными местностями земли, укрыться в своих собственных четырех стенах, он воспринимал каждое место здесь и сейчас как свой единственный шанс: если он не смирится с ним (часто без всякой охоты), заставив себя здесь работать, то нигде будет больше укрыться пространствам из прошлого, в случае же удачи, в блаженном изнеможении, все его пространства, и то отдельное, только что завоеванное, и все прежние, соединятся в единый закрывающий собою небо и землю купол, под сводами которого раскинется святилище, открывающееся не только для него лично, но и для других.

После первого разочарования от природы, которая всякий раз сперва спешила поманить своей соблазнительной доступностью, а потом стремительно ускользала, Зоргеру приходилось, чтобы не пропасть, со всею энергией углубляться в нее. Он должен был воспринимать весь окружающий мир в самой его мельчайшей форме – будь то трещинка на камне, изменяющаяся окраска ила, песок, прибившийся к растению, – и воспринимать серьезно, как воспринимают все серьезно дети, для того чтобы он, ни с кем и ни с чем не связанный, ни за что другое нигде не отвечающий, мог бы хоть как-то держаться, неважно для кого; и иногда ему даже это удавалось, правда при этом ему всегда приходилось яростно преодолевать самого себя.

А для кого ему нужно было держаться? Зоргер отдавал себе отчет в том, что все его научные занятия есть не что иное, как религия: только работа делала его способным устанавливать связи, только тогда он чувствовал готовность к выбору, в двояком смысле – он мог выбирать и его могли выбрать. Кто? Это не имело значения, важно, что он мог быть избранным.

Изучение образа земли, которому он отдавался не фанатично, но настолько истово, что постепенно к нему приходило ощущение и собственного образа, эта работа, помогая ему отмежеваться от Великой Бесформенности с ее опасными капризами и настроениями, и в самом деле до сих пор спасала его душу.

А другие? В своей профессиональной деятельности Зоргер еще ни разу не сделал ничего такого, чем бы он мог быть действительно полезен другим, ни какому-нибудь отдельному человеку, ни какой-нибудь группе людей: он не участвовал в разработках нефтяных скважин, ему не доводилось предсказывать землетрясения, никто не привлекал его даже хотя бы в качестве ответственного лица к проверке состояния грунта при строительстве какого-нибудь объекта. И все же он был уверен в непреложности «своего личного факта»: если бы он не старался прини-

мать на себя все то неприятное, что есть в каждом участке земли, если бы он не умел, используя имеющиеся в его распоряжении методы, читать ландшафты и передавать прочитанное уже в систематизированном виде другим, с ним бы никто не смог общаться, никто.

Он вовсе не считал, что его наука – нечто вроде мировой религии; педантичное исполнение профессионального долга («образцово показательной» называл его работу Лауффер, отличавшийся, напротив, неорганизованностью и какой-то милой непоседливостью) превращалось для него в своеобразное упражнение, призванное научить его доверять миру, а размеренность всех его движений как в работе, так и в быту была не чем иным, как попыткой уйти в медитацию, удававшейся, правда, лишь в таких местах, как ванная комната, кухня или мастерская, где он начинал тогда неспешно блуждать. Вера Зоргера была ни на что не направлена; просто благодаря ей он мог, когда это ему удавалось, превращаться в часть «своего предмета» (дырчатого камня, а иногда и башмака на столе, какой-то ниточки на микроскопе), и она же наделяла его, часто такого подавленного, только теперь ощутившего себя настоящим исследователем, чувством юмора, и тогда, погрузившись в состояние тихой вибрации, он принимался просто более пристально рассматривать свой мир.

В такие периоды, когда он беззаветно отдавался чувству приязни (в редкие моменты, когда его посещала надежда, он сам себе казался глупцом), в Зоргере не было ничего божественного, он просто знал, – пусть это знание было мимолетно, но уловимо и закрепляемо на веки вечные в формах, – что такое хорошо и что такое плохо.

У него была потребность в такой вере, которая была бы направлена на что-нибудь, хотя он никогда не мог себе представить никакого Бога; но в те моменты, когда он бывал подавлен, он замечал, что ему искренне хотелось, – быть может, это было не желание, а только навязчивая идея? – он чуть ли не молил о том, чтобы вместе с каждой мыслью его посещала мысль о Боге. (Иногда он даже мечтал о том, чтобы стать по-настоящему верующим, но это ему никогда не удавалось, хотя при этом он был уверен в том, что «боги» его понимают.)

Завидовал ли он безмятежно верующим, всем этим бесчисленным спасшимся душам? Его просто трогало в них полное отсутствие настроений, их способность без особого труда переходить от серьезности к веселости, их неизменная благотворная и такая добрая обращенность вовне; сам он, честно говоря, был недобрый, и это его определенно не устраивало: слишком часто он реагировал на что-то восторженным потоком слов, а уже через секунду не испытывал по этому поводу ничего, кроме глухой досады, хотя в действительности нужно было бы отнестись к этому со снисходительным юмором и раз и навсегда закрыть эту тему.

И все же верующие не могли составить ему компанию. Он понимал их, но не мог говорить с ними на их языке, потому что у него не было языка, а в те редкие минуты, когда он впадал в несвойственную ему религиозность, он все равно бы говорил чужим им языком: «темной ночью их веры», когда язык скован немотой, – он все равно оставался бы им непонятным.

Зато языковые формы его собственной науки нередко казались Зоргеру, при всей их убедительности, каким-то забавным надувательством; ее обряд описания ландшафта, ее согласованная система описательных и назывных форм, ее представления о времени и месте – все это казалось ему весьма сомнительным: и оттого, что на этом языке, возникновение и развитие которого связано с историей человечества, нужно было представить историю совершенно иных движений и структур земного шара, – от этого у него всякий раз неожиданно начинала кружиться голова, и ему требовались невероятные усилия, чтобы представить себе в исследуемом месте – время. Он подозревал, что есть совсем другие схемы описания течения времени в различных формах ландшафта, и уже представлял себе, как он с лукавой усмешкой, которая отличает испокон веку всякого мыслителя, переосмысливающего все заново (он обратил на это внимание, рассматривая их фотографии), подсовывает миру свое очередное надувательство.

Теперь, когда Зоргер в часы досуга мог с воодушевлением отдаться игре ума, ему, уже насмотревшемуся на эту желтую дикую землю, нетрудно было представить себе, каким поки-

нутым почувствовал бы себя тот, кто, не имея веры в силу форм или лишенный по неведению хотя бы возможности поверить в нее, вдруг, как в кошмарном сне, оказался бы один на один с этой местностью: это был бы ужас, страх перед злым духом, неотвратимым концом света, где человек от сплошного одиночества – ведь и за ним ничего бы уже больше не было – готов был бы умереть прямо на месте, но ему не дано было бы это: потому что уже не было бы никакого места – и даже злой дух уже не смог бы забрать его к себе: потому что самое это имя перестало бы существовать – и осталось бы только вечное умирание от ужаса, потому что и время перестало бы существовать. И поверхность воды, и плоское небо над ней вдруг превратились в створки распахнутой раковины, из недр которой страшно соблазнительно, трепеща и содрогаясь от острого нарастающего возбуждения, хлынул поток пропавших от начала времен без вести.

Зоргер, вырванный из игры, непроизвольно обернулся, как свой собственный двойник, который, очутившись на уступе, образовавшемся из глины, мергеля и, может быть, золотой пыли, оказался под угрозой этой дрожащей пустоты, как будто все время менявшей направление движения, – и посмотрел на обжитое пространство позади него, туда, где мелькали среди кустов светлые мохнатые хвосты цепных собак, где блестели кустики молодой травы на земляных крышах хижин индейцев и где стоял теперь тот «вечный другой» – таким представился ему в этот момент его коллега Лауффер – в высоких сапогах, заляпанных илом, в специальной куртке с множеством карманов, с поблескивающей лупой, висящей на шнурке, он только что вернулся с полевых работ и теперь остановился на последней деревянной ступеньке, перед входом в дом с высокой крышей, освещенный солнцем, падавшим на лицо и грудь, как будто потерянный оттого, что то место, куда он теперь вернулся, было не домом, а всего-навсего крышей над головой, он стоял застыв на месте, словно копируя оцепеневшего Зоргера, как и он устремив взгляд на бескрайние водные просторы, с сигаретой в зубах, с таким же перекошенным лицом, всем своим видом как будто взывая о помощи, напоминая одного из тех, кто идет в колонне, где один не отличим от другого, где каждый смотрит в затылок впереди идущего.

Лауффер был одним из тех друзей, с которым у него установились близкие отношения, но в этих отношениях не было, однако, никакого панибратства, в них чувствовалась скорее какая-то робкая вежливость. Невозможно было представить, чтобы кто-нибудь из них, при том что в их повседневной жизни многое зависело от настроения, позволил бы себе выплеснуть наружу свои эмоции (хотя иногда это было бы даже полезно). Им приходилось делить рабочую комнату на двоих, но только один раз, в самом начале, они повздорили из-за чего-то, а так – без всяких договоров каждый знал свое место, и в спальне тоже, – в доме было только два этих помещения. У них было много общего, и это казалось само собой разумеющимся, хотя при этом если они делали что-нибудь вместе, то это выглядело скорее случайностью; каждый занимался своим делом, и даже внутри дома у каждого из них были свои тропы. Они никогда не ели по-настоящему вместе, просто один подсаживался к другому, если тот решил как следует пообедать, и тогда неизменно раздавался вопрос: «Выпьешь со мной вина?» Если же кто-нибудь из них хотел послушать музыку, то другой не уходил из комнаты, а сидел и слушал как будто безучастно, только, быть может, постепенно втягиваясь, – и тогда мог даже попросить поставить что-то снова.

Лауффер был лжецом; Зоргер при всем внешнем спокойствии и невозмутимости все еще оставался непостоянным человеком, чье непостоянство выражалось порой в резком переходе к абсолютному равнодушию или даже неверности: оба они догадывались или знали дурные стороны друг друга, с которыми они молча мирились (непостижимым образом предчувствуя, когда они должны проявиться, в то время как тот, против кого они, собственно говоря, направлены, продолжал оставаться в полном неведении) и, забавляясь про себя, что каждый из них по отношению к посторонним может вести себя как последняя сволочь, никогда не позволяли себе ничего подобного по отношению друг к другу, радуясь тому, что они уже так долго вме-

сте: рядом с другом каждый казался себе вполне благонамеренным и уж во всяком случае не злодеем.

Их нельзя было назвать парой, даже по контрасту; за все эти годы они стали скорее партнерами и оставались ими даже на расстоянии – сработавшейся командой, но не закадычными друзьями: враги одного спокойно могли быть добрыми знакомыми другого.

У лжеца Лауффера, в общем-то, не было врагов, его лживость замечали только исключительно женщины, да и то немногие; заметив ее, однако, они считали, что владеют теперь какой-то невероятной трагической тайной, которую они должны хранить по гроб жизни, и потому, прибив Лауффера к рукам, так что весь прочий мир оказывался уже исключенным из этой связи, спешили заключить с ним союз.

Где бы он ни появлялся, он, не прилагая со своей стороны никаких особенных усилий, тут же становился всеобщим любимцем, и люди даже за глаза называли его запросто по имени, причем не только здесь, на американском континенте, где это в общем принято. Конечно, случалось, на него сердились, как сердятся, бывает, на своих кумиров, не более того, но никто бы никогда не позволил постороннему обругать его. При всей его физической непоседливости – правда, когда он, насилуя себя, тихо сидел против погрузившегося в мысли Зоргера, он выглядел как послушный игрушечный мальчик – он с первого взгляда, при всей своей не слишком атлетической, но вместе с тем какой-то забавной и потому казавшейся родной массивной фигуре, производил впечатление счастливого согласия, некоей находящейся в беспрестанном движении середины, в которой хотелось принять участие; в нем, в этом лжеце, было что-то надежное: всякий раз при виде его ты чувствовал какое-то облегчение или просто радость от встречи, даже если он только просовывал голову в дверь.

Правда, он никогда не врал первым, он лгал только тогда, когда читал в устремленных к нему восторженных глазах всех этих благонамеренных – других он просто не знал – некое ожидание Спасителя, которое он, конечно, не в состоянии был бы оправдать, если бы речь шла о долгом общении, но в котором он тем не менее в этот момент не чувствовал себя вправе их обмануть и потому принимался бессовестно и чуть что неприлично врать. Факт оставался фактом: Лауффер, без каких бы то ни было усилий с его стороны, повсюду воспринимался как собиратель сбившихся с пути, так что ему казалось теперь, будто отныне он навсегда обречен на вечную безобидность, в которой он не узнавал себя: он не был бесстрастным бесполом существом, напротив, в глубине души он, в своих собственных глазах настоящий герой, а не такой, каким он виделся тем, кто называл себя его друзьями, уже давно лелеял беззаветную или, быть может, безумную мечту стать великим.

– Я хочу быть таким же опасным, как ты, – сказал он как-то, когда они сидели с Зоргером дома и случайно, как это бывало у них, решили вместе поужинать.

Они сидели за столом у западного окна, центральная часть которого, там, где сходились река и вечернее небо, являла собою желтый четырехугольник с длинными темными полосками, а сверху и снизу (гряда облаков и берег реки) чернела темнота; окно было без сетки, но единичные комары, хотя и залетали, как очумевшие, в комнату, не кусались, а просто садились на руки и там сидели.

На ужин у них были собранные ими в поле светло-коричневые, похожие по вкусу на китайские, грибы, которые впитали в себя влагу грунта, скапливающуюся там, потому что под ним залегал слой мерзлоты; к грибам прилагались добытые у рыбаков-индейцев толстые белые куски лосося и последняя, уже переросшая, картошка из их собственного довольно бесформенного «летнего сада», разбитого с восточной стороны дома, там, где было меньше ветра. Они пили купленное в местном супермаркете, именуемом «торговым центром», вино, которое было таким холодным, что его сладкий вкус в сочетании с горькими грибами и рыбой казался какое-то время даже приятным.

Был один из первых осенних дней в доме с бесчисленными предметами быта и техническими приборами, где все дышало банальной практичностью и заурядностью: и только если посмотреть в окно, пусть даже случайно, можно было испытать то возвышенное и вместе с тем тревожное чувство от головокружительного полета в пространстве, уносящего в бесконечно далекие, запредельные просторы Заполярья; но даже если не смотреть в окно, даже если просто сидеть, есть и пить, можно было уловить краешком глаза какой-то непонятный свет, который, хотя и скользил все время по предметам, обретал осознанную ясность лишь от фантастического, едва уловимого толчка изнутри, благодаря которому сознание начинало понимать, что оно «где-то далеко-далеко», «совсем в другом месте», в другой части земного шара.

Пятнистая черно-белая кошка, жившая с ними в доме, доела остатки рыбы, но продолжала сидеть на столе – подоконников в доме не было, потому что стены и без того были слишком тонкими, – она сидела неподвижно и смотрела на волнующиеся на ветру заросли в пойме реки, лишь время от времени провожая головой набегающую встречную волну и помогая ей лапой.

Ветер дул теперь против течения, и от него на поверхности все еще желтой воды образовывались сильные мелкие волны, которые бежали теперь на восток, как будто бы и вода текла в том же направлении; и только у самого края этой картины было видно, как закручиваются мощной спиралью разводы, позволявшие определить, куда в самом деле течет поток, в недрах которого, почти что материально осязаемо, как брошенные в воду потроха, кружились ядовито-черные воронки. Ниже по течению, далеко-далеко на западе, уже скрытая наполовину тенью от берега, поднималась из воды какая-то темная конструкция, она то взмывала над водой со скрипом, проникавшим ритмично в дом, то снова падала в воду с каким-то звериным всхрапом, заполнявшим собою весь пустынный ландшафт: это был один из последних дней, когда индейцы, пользуясь отливом, запускали на реке свои огромные деревянные рыбацьи колеса, которые они использовали как турбины-ловушки для ночного лова лосося.

По ту сторону колеса, там, где поток воды, следуя своим изгибам, устремлялся на север, тянулась, будто повторяя очертания изогнутого берега некоей лагуны, зазубренная линия горизонта, образованная верхушками низкорослого густого соснового леса темно-коричневого цвета. Из-за того, что верхушки отдельных деревьев так выделялись из этой растянувшейся на много километров массы, казалось, что там, за нею, где узкие полосы островов обозначили залив, и в самом деле виднеются башни прибрежного города на фоне чистого пространства неба. В этом погруженном в кромешную тьму городе, отдельные детали которого угадывались лишь по отражению в воде, казавшейся от того еще более светлой, время от времени раздавались выстрелы или слышался лай бродячей собаки, а может быть, это было просто гулкое эхо, что доносилось оттуда в деревню и будоражило местных собак, которых здесь держали, как правило, сворами, и те принимались выть потом до самой поздней ночи.

Из тени лагуны выскользнула лодка, в которой не было видно ни души, потому что все пассажиры сидели пригнувшись или на корточках, и пересекла последнее светлое пятно, оставив за собою чернильно-синий след.

Консервная банка, брошенная как будто исподтишка, коснулась гладкой поверхности, на которой пошла легкая, едва заметная рябь, и отскочила куда-то в сторону острова, в лес, над которым взметнулось несколько ворон.

Зоргер, выехавший еще ночью на одолженном у Лауффера джипе к индианке, которая никогда его особо не ждала, но тем не менее принимала, оказывая ему при случае услуги, снисходительно-добродушно, а иногда даже с каким-то довольным достоинством, видел перед собою, в рытвинах идущей по берегу щебеночной дороги череду уже утративших, правда, свой блеск, но все же еще тускло отсвечивающих мелких лужиц, которые казались сродни также тускло отсвечивающей реке. Но и эта вода, из-под которой выглядывали тут и там песчаные

отмели, вышла из состояния покоя и сливалась теперь где-то там далеко, где уже не различить было линии перехода, со светлой полоской неба, вобравшей в себя весь горизонт и являвшей собою символ Заполярья: тонкие черные ленты облаков можно было принять за дальние острова на раскинувшейся реке, а последние всполохи света на небе, обнимающие облака, могли быть в действительности все той же рекой, несущей свои воды на запад.

Зоргер притормозил, ему хотелось удержать это событие пространства. Но не было уже никакого пространства, не было больше ни переднего, ни заднего плана, осталась только ускользающая перспектива и мягко раскрывающаяся перед ним в мощном развороте открытость, но не пустая, а жгуче материальная, и возбужденный Зоргер, который теперь еще более пронзительно ощущал разверзшуюся над его головой и за спиной непроглядную тьму ночного неба и смолянисто-черную массу земли под ногами, подступившую к нему с двух сторон, изо всех сил старался удержать это явление природы и ту самозабвенность, с которой оно воплощалось, он не давал ему умереть, отыскивая в общей картине лишние детали, которые он выхватывал как одержимый, и все же в конце концов все встало на свои места – и перспектива, и точки пересечения линий, и щемящее одиночество. В какой-то момент, правда, он почувствовал в себе силы выброситься туда, к светлому горизонту единым целым, чтобы остаться там навсегда, растворившись в слитном пространстве земли и неба.

И вот он снова сидит в машине, тело неподвижно и словно отодвинуто от всех приборов, руки держат руль за самый верх, так, словно он сам не имеет ко всему этому никакого отношения. Он ехал по улицам без названий, мимо домов без номеров. Кое-где окна уже были занавешены овечьими шкурами, как на зиму. Свет от фар выхватывал из темноты гигантские лосиные рога, нестерпимо белевшие тут и там над входными дверями. Хижины горделиво возвышались на деревянных сваях, а под ними, там, где уже ничего не было видно, скользили тени от сваленного внизу хлама. Вдоль леса тянулась взлетная полоса, щебеночная дорожка, которая теперь, в свете фар, убегала вдаль ярким треугольником, пустынная и безлюдная, с двух сторон обнесенная маркировочными столбиками с красными фонарями; какой-то бездомный пес высунул голову из норы и смотрел поблескивающими глазами. В этой затерявшейся колонии, теперь оказавшейся отрезанной от общей сети американских дорог – даже на корабле сюда было не добраться, только на самолете, – осталось множество небольших дорог, которые вели в лес и доходили до самых болот, а там уже обрывались, и каждый двор имел по крайней мере один автомобиль, которым пользовались, даже если ехать было совсем недалеко, они носились здесь на бешеной скорости, лихо объезжая кусты, забрызгивая грязью никогда не просыхающих дорог деревья и стены домов.

На фоне этой хотя и плоской, но все же шероховатой местности, казавшейся, со всеми этими предметами, растениями, животными и людьми, которые высекались каждый день заново на ее поверхности грубо выполненной резьбой по кости, о края которой можно было порезаться, «индианка» (как называл ее про себя Зоргер, даже когда бывал у нее) предстала перед ним в сиянии манящей, но вместе с тем холодной гладкости – как будто она всю жизнь носила драгоценное имя «Гладкая».

Она пригласила его тогда на танец, это было в период светлых ночей, в баре при супермаркете; ее широкое, но по-своему изящное тело (когда они танцевали, он не знал, куда ему девать свои руки), которым она вела его, вызвало у него поначалу какое-то странное, возникшее против его воли и не нравившееся ему самому возбуждение; она же, судя по всему, не находила в нем ничего необычного, во всяком случае она приняла его как есть; ее гладкость была соблазнительной, а снисходительность – заразной.

Ее соплеменники – хотя, по существу, уже не было никакого племени, от которого осталось лишь несколько человек, не вылезавших из своих хижин, где они просиживали целыми днями, потягивая пиво под магнитофон, да высокие надгробья на кладбище в лесу за поселком, – ничего не должны были знать о ее связи с чужим: будучи медсестрой, назначенной

комиссией по здравоохранению и распоряжающейся всеми медикаментами, она иначе потеряла бы доверие своего народа, потому что «у ее тела появился бы запах», а «из щек начали бы выпрыгивать лягушки», и она могла бы заразить всю деревню непонятной болезнью, так что ее пришлось бы убить «каменными ножницами». Ее муж, не умевший, как многие здешние жители, плавать, утонул на рыбалке; ее мучил один и тот же сон, как она вытаскивает его из воды, а он оказывается деревянной маской, украшенной перьями.

Перед ее домом стояла высокая тотемная стела, заигравшая теперь всеми красками в свете фар, рядом виднелось два детских велосипеда, прислоненных к стеле; в окне без штор он заметил знакомый круглый лоб, значит, можно входить, и он, не дожидаясь приглашения, уверенный, что дети уже спят, шагнул в дом.

Один ребенок, казавшийся во сне бесполом существом, лежал, нежно уткнувшись в подмышку другого, и было ощущение, будто большая полутемная, но вовсе не мрачная комната существует теперь сама по себе, как ниша, в которой поместилось их ложе, сокрытое от посторонних глаз, вокруг которого по стенам бежали тени от качающихся в ночи кустов за окном: и все же он – глядя на нее, поддаваясь ей, превращаясь без долгих размышлений в ее фантастическую машину (подобно тому как она превращалась в его) и не столько «делая ее счастливой», сколько принимая участие в ее гораздо более продолжительной гордости – совершенно не чувствовал себя обманщиком, потому что был скорее составом преступления в рамках неизбежного обмана, за который он даже и не мог нести никакой ответственности.

И дело было не в том, что он вынужден был общаться с ней на чужом (и для нее тоже) языке, который так изменял его голос: помимо этой сложности, которая касалась только их двоих, было еще нечто другое, гораздо более важное – противоречие между бездеятельным желанием (поскольку он видел себя и ту, другую, уже в свершении) и тем реальным воплощением, которое рано или поздно должно было бы кончиться, несмотря на неизменно ожидаемый триумф, каковой тем не менее всякий раз оказывался недостижимым; всякий раз казалось, что только это и есть единственно верное и настоящее, но потом все оборачивалось ничем. Вожденное слияние не утоляло желания, но низводило его до какой-то стремительной, ускользающей мимолетности и вызывало, именно из-за этой слабости, чувство стыда, отчего все становилось еще более бесстыдным. Это означало: он не любил ее; знал, что на самом деле ему следовало приходить не к ней, и все же продолжал делать это, расправляясь с ней быстро и решительно, скрывая за этим свою собственную неуверенность. Как так получилось, что ему не нужны ничьи объятия, что ему хорошо, только когда он один?

Ему так хотелось за это полюбить ее на своем языке, через свой язык, но вместо этого он смотрел на нее неотрывно с тихой угрозой, дожидаясь, когда она, сначала как будто удивленная, испугается по-настоящему, а не только ради того, чтобы угодить ему. Он даже представлял себе, что может ее убить, или хотя бы что-нибудь украсть, или разрушить у нее в доме, ведь никто не знал, что он здесь был.

– Я не люблю этот век, – говорил он тогда, а она отвечала ему, медленно, как будто предсказывала будущее:

– Конечно, ты ведь здоров и, наверное, когда-нибудь пропадешь.

Она не знала, откуда он родом, и только смеялась, оттого что не могла себе даже вообразить, что такое другая часть света. Исчезла ли наконец эта закатная полоса на небе? За домом взревел генератор, спрятанный в жестяном ящике, и в запредельной тьме, по ту сторону всех меридианов и параллелей, задрожали лужи и вода в них завертелась, закружилась. Белый тысячелистник съежился на морозе, желтоголовые кустики ромашек превратились в сделанные с воздуха снимки горящих лесов. Как дребезжащий сигнал тревоги, оповещающий об утрате ориентации, поднялась откуда-то из самых заповедных глубин Зоргера какая-то сила и вырвалась наружу, устремляясь в даль по-ночному безмолвной долины, уносилась все дальше на север – и что такое был в тот момент север? – к наносным землям тундры, чтобы там взломать

ледяную глыбу, вспучившуюся здесь пузырем тысячу лет назад и засыпанную толстым слоем песка и гравия, так что снаружи невозможно было распознать, что это когда-то был кусок льда; теперь здесь мог бы образоваться какой-нибудь кратер, заполненный водой, как будто прежде тут, у самого полюса, был маленький работающий вулкан. Течение реки за домом было заметно теперь только в верхнем слое, а сразу под ним, вбирая в себя плавающие на поверхности листья и ветки и сразу обволакивая их, расплывался от истоков до устья гладкий ледяной пласт, заполняя собою все русло и сообщая воде свой стеклянный цвет. Множество людей застыли здесь, склонив свои лбы над замерзающим эмалированным краем умывальника, а дети, усни они здесь, на этом ложе, не смогли бы ночью повернуться на другой бок. А Лауффер, читая на ходу письмо (ведь сегодня, кажется, должны были привезти почту), которое он держал двумя руками, но не свободно, пальцами, а как-то кулаками (при этом Зоргер представлял себе его сидящим на диване рядом с какой-то корзинкой, слегка завалившейся набок), поглядывал на кошку, которая все это время не спускала с него глаз, а потом все же наконец заснула. Ветер завывал в пивных кружках где-то там, в зарослях, и одновременно в голове зазвучала эолова арфа под действием доисторического ветра, что наносил сюда всю эту землю, на которой теперь стояла хижина. У Зоргера было такое чувство, будто все это, происходящее одновременно и все же несовместное друг с другом, вот-вот готово сомкнуться вокруг него, превратившись в такую знакомую нереальность, которая в любой момент может смести его, и, как всегда, он был бы сам виноват в этом. «Пора домой. Спать». Стукнул себя кулаком по лбу – как будто осенил себя крестным знаменем, которое даже помогло. Наваждение исчезло, чувство пространства вернулось.

– Что ты видишь? – спросила индианка, и он почувствовал в уголках своих глаз симпатию к ней, он обнял женщину и сделал это искренне. Она крепко держала его, и, когда он взглянул ей в лицо, в чертах которого сквозила угадываемая им красота старости, он увидел в нем вместо привычного отсутствующего выражения полнейшее участие.

Зоргер выслушал еще длинную историю, которую она поведала ему, хлопоча вокруг него, – о том, как кто-то соблазнил некую женщину во сне, дав ей предварительно понюхать меди; потом она, как полагается, проводила его до самых дверей, и он, пребывая в наилучшем расположении духа, покати́л домой, окруженный со всех сторон приветливой арктической ночью. Усталость, та самая, что вдруг наваливается как «некое отклонение от вертикали» или, быть может, объясняется слишком усердным говорением на чужом языке (при этом его «опасность» представилась ему в виде самостоятельной, довольно неприятной фигуры), была ему неведома, и потому, уже изда́лека заметив поблескивающий в темноте дом с высокой крышей, самый вид которого, цвет и материал сообщали ему энергию (река за домом превратилась в слабый плеск), он бодро вошел в него, исполненный жажды деятельности и жгучего желания немедленно приступить к своим естественно-научным изысканиям – правда, вместо этого он прошел в пустую лабораторию, Лауффер уже спал в соседней комнате, – налил себе вина и, уютно устроившись с кошкой на коленях, принялся от нечего делать всматриваться в полусумеречный свет снаружи и внутри, мысленно наводя там ясный и четкий порядок.

Наконец, позволив себе расслабиться, он обратился к кошке на своем родном языке:

– Достопочтенный демонический зверь, ты, гигантский глаз, пожиратель сырого мяса. Не бойся: никого нет сильнее нас, никто не может причинить нам зла. Перед нашими окнами несет свои воды враждебный поток, но мы сидим здесь, в нашей стихии, и до сих пор нам везло. Я не так уж слаб, я не так уж бессилен, и я могу быть свободным. Я хочу успеха и приключений, я хочу научить ландшафт разумно мыслить, а небо – скорбеть. Понимаешь? И я нервничаю.

Они смотрели в ночь, кошка – гораздо внимательнее, чем человек, к которому она стояла теперь задом, задрав хвост и обратив к нему, словно горящий взгляд, фекальное отверствие. На улице неистовствовал необычный для здешних мест ветер, отдаваясь в стенах тихого

дома. Зоргер продолжал сидеть неподвижно, пока не ощутил, как его череп взвешивает его собственный мозг: весы, которые занимаются тем, что превращают взвешиваемое в невесомое. И снова нервы взметнулись над головою, и было в этом что-то от взмаха крыльев под кожей; а потом наступил абсолютный покой, в котором все можно было выразить словами «ночь – окно – кошка»; и Зоргер ощутил всеми легкими, какая это благодать – холод и ветер снаружи.

Он подхватил животное за передние лапы, так что теперь оно стояло вытянувшись на задних лапах, и приложил ухо к самой морде:

– Ну, говори же. Хватит притворяться, лицемерное четвероногое создание, тварь безродная, разбойница бездетная. Ну давай же. Ведь всем известно, что вы умеете говорить.

Он крепко прижал к уху маленький круглый череп, его рука при этом, лаская, скользила по спине, все глубже зарываясь в пушистую шкурку, пока наконец не добралась до самого позвоночника.

Кошка не двигалась, она едва дышала, ее глаза от страха совсем округлились и стали стеклянными, а в расширившихся зрачках отражалось лицо мужчины. Так продолжалось довольно долго, и все же в какой-то момент она начала тихонько сопеть, а потом выдавила из себя жалобный писк, прямо Зоргеру в ухо, не столько от боли, сколько от последнего отчаяния, вместе с которым к ней пришло наконец облегчение, так что она даже совсем по-домашнему ощупала его лицо лапой.

– Нелепое создание, – сказал мучитель, – чертово ночное животное, материал для сравнения, угодливо подсовываемый всем и вся.

Кошка оцарапала его и, оттолкнувшись от его коленей, когда он ее отпустил, перелетела через комнату, стремительно забралась под коврик и застыла там большим матерчатым горбом.

Зоргер поначалу ничего не почувствовал, было только ощущение прохлады на лице, и лишь немного позже ранка начала кровоточить. Мебель все еще слегка гудела, растревоженная прыжком беглянки. Коричневая стрелка компаса, лежащего перед ним на столе, продолжала подрагивать, а из соседней комнаты доносилось бормотание другого мужчины, который ворочался во сне, как будто не находил себе места. А может быть, это было уже пение? Хотя, собственно говоря, с чего тут петь? Как легко человек себя выдает. Как мало надо, чтобы заговорить. Насколько привлекательнее в этом смысле кошки с их пугливой осторожностью. Умолкни, человек. Да пребудет время умолчания.

Рядом с компасом лежало письмо из Европы для него, которое он еще не открывал. (Каким дымом потянет оттуда, из каких земель?) Сколько всего он уже и так пропустил, только за один сегодняшний день? Нельзя сказать, чтобы он исполнился чувства неискупимой вины, это было скорее дразнящее чувство тревоги, ну а поскольку он только смутно угадывал его, то ему и не в чем было раскаиваться, равно как он и не мог ничего поправить.

– Никогда больше, – сказал он, ибо настало время сонных ночных решений, – начиная с сегодняшнего дня я никогда больше не...

Что? Нестерпимая жара, почти что вонь, навалилась на помещение и на человека, который из последних сил упрямо продолжал бодрствовать: осознание необратимой необходимости лишений и бесконечной невозможности действовать. У него не было права на технические предметы, у него не было права смотреть на реку, и ко всему прочему обманным путем его лишили права когда бы то ни было кого-либо обнимать. Лауффер и впрямь запел во сне. «Сплошное недоразумение этот, другой, нелепое Я, вечно смеющийся третий». Что-то здесь не так с ними со всеми, с самого начала, все они обманщики, все без исключения. Ночь превратилась в тело, которое прильнуло снаружи к оконному стеклу; и Зоргер действительно показался сам себе чрезвычайно опасным: потому что он хотел все потерять и потеряться сам.

Правда, у него и прежде бывали такие состояния, когда хотелось исчезнуть в никуда, и если они не улетучивались во сне, то исчезали на свежем воздухе следующего дня; тут и кошка

вылезла из-под коврика и стала, в знак преданности, путаться у него, собиравшегося как раз идти спать, под ногами.

– Как видишь, я иду теперь спать, – сказал он, обращаясь к ней, и добавил: – Радуйся, душа моя, что у тебя есть свой угол и крыша над головой.

Снаружи бушевал ветер, а дом летел сквозь ночь, и Зоргер радовался утреннему свету. «Мне хотелось бы пожить какое-то время с животными. Они не потеют и не скулят о том, какая тяжелая у них жизнь...»

Но разве не существовало, при всей потребности молчать и умалчивать, еще и желание спонтанно выкрикнуть что-нибудь, желание кричать вообще, которое позволило бы не только доказать отсутствие какой бы то ни было вины, но и восстановило бы ту сияющую невинность, с которой можно было спокойно жить дальше?

Зоргеру нечего было выкрикивать, ни на каком языке. Он еще не совсем заснул, когда со всей очевидностью понял: и снова день прошел, и снова он отложил то, что уже скоро откладывать будет просто нельзя. Настало время принять решение, которое находилось в его власти, а может быть, и нет, в любом случае добиваться этого должен был он и никто другой.

Он лежал неподвижно, глубоко дыша, но при этом видел, что тело его как будто приосанилось, и он почувствовал непреодолимое желание такого решения, почти что возмущенное ожидание и нетерпение; самое же удивительное, а для Зоргера совершенно неслыханное и, если учесть, что все происходило в полусне, отнюдь не смешное, во всем этом было то, что он при этом чувствовал себя так, будто он был не один, – впервые в жизни он чувствовал себя представителем народа. В этот момент он представлял не просто некое большое число, он был носителем того самого, сплотившего их всех и окрылившего их желания – желания принять решение.

В какое-то мгновение он представил себе даже, что все эти одинаковые окна в высотных домах-коробках есть не что иное, как приборы ожидания, застывшие в напряжении, и что они были устроены в этих глухих стенах именно для этой цели, а не как отверстия для обзора и циркуляции воздуха, и, уже засыпая, увидел перед собою не те обычные безлюдные ландшафты, а совсем рядом летящую вереницу совсем не деревенских горестных лиц, среди которых не было ни одного знакомого; и все же все вместе они составляли некое живое множество, к которому принадлежал и он сам.

Был ли он готов к решению? Он не знал и никогда бы не узнал, если бы внутренне не был настроен на это.

Но что это было за решение? Вместо ответа почти уже заснувший Зоргер увидел немую сцену, как он сидит в небольшом помещении, где-то высоко-высоко, и выглядит как усердный чиновник, слуга народа, с покатыми плечами, а с другого берега огромного водного пространства, отделяющего его от всего остального, на него смотрят бесчисленные окна, сомкнувшиеся рядами.

Какое-то небывалое, непреодолимое желание охватило его – напрячь все свои силы до полного изнеможения. А если бы он оказался слишком слабым, он сумел бы укрыться где-нибудь в стороне, под аркадами, которые привели бы его в надежное укрытие, которое пока еще оставалось закрытым: многое было поставлено на карту, только не жизнь и не смерть.

Тепло разлилось по всему телу, и он натолкнулся на себя самого, в своей собственной ладони. Ему было приятно ощущать свой детородный орган, без возбуждения, и одновременно с этим он почувствовал голод и еще – жажду денег. Кошка вспрыгнула на постель и улеглась в ногах; «животное в доме». Узкая и длинная койка подходила ему как нельзя лучше. Рядом рассмеялся во сне Лауффер, или это он сам? Ветер снаружи превратился в облако. Индианка, свернувшаяся калачиком подле него, как раз забыла о нем, забыла обо всех людях на свете, даже о своих детях. (Она тоже подходила ему сейчас как нельзя лучше.)

Если днем благодаря работе Зоргер обыкновенно сливался в единое целое с самим собою и с ландшафтом – вот он, вот эта местность, которую он сам себе отыскивал, все на своих местах («township» назывался его квадратный, никем не заселенный участок, на котором не было ничего, кроме дикой природы), – то по ночам, когда он спал на своей высокой железной кровати, его по-прежнему не оставляло ощущение удаленности от Европы и от «предков»: не только в том смысле, что между ним и какой-то другой точкой в пространстве пролегает невообразимое расстояние, но и потому, что он сам себе казался удаленным (при том что уже самый факт удаленности был преступлением). Во сне у него не было конкретного образа этой точки в пространстве, а только неотступно преследовавшее его и по меньшей мере мешающее сознание того, что он спит не в своей постели. Даже во сне его не покидало ощущение собственной принудительной удаленности, и, хотя с тех пор, как он сменил континент, прошли уже годы, ему еще ни разу не удалось, имея крышу над головой, забыться мирным сном; напротив, стоило ему сомкнуть глаза (мгновение, которому он всякий раз отчаянно сопротивлялся), да и потом, в течение всей ночи, его, постепенно наливающегося тяжестью и превращающегося в бесформенный комок, начинало медленно и неудержимо нести в сторону горизонта, притягивавшего как магнит, – где потом что происходило?

Из кучки кричащих пьяных индейцев, стоявших на берегу реки вокруг костра, отделился один и, пятясь задом, нетвердо держась на ногах, с бутылкой в руках, вошел в быструю реку и тут же исчез под гладкой поверхностью; но в самый момент этого стремительного падения спящий успел заменить его. Он больше не всплыл. Никто не отреагировал на его исчезновение.

Река с высоты птичьего полета (как если смотреть из низко летящего вертолета) оказалась на поверхности такой прозрачной, что в глубине ее, словно заключенные в прозрачное водяное тело и выглядевшие как самодостаточная масса, имеющая четкие очертания, которая именно поэтому и производила впечатление бешено вращающейся стихии, были видны желто-коричневые ритмично поднимающиеся со дна по всей ширине русла реки, перекатывающиеся тучи ила, двигавшиеся на запад.

Над этой мутью, по самому верху, там, где вода оставалась прозрачной, скользили, не выходя на поверхность, неразличимые с берега темные стволы деревьев, в основном голые, черные березы, с которых течением содрало кору и которые теперь то и дело оказывались окутанными слоем ила, столбом поднимавшимся в отдельных местах со дна; у самого же берега хорошо было видно, как несутся в волнах отдельные сосновые коряги, корневищем книзу, макушками вверх, протыкая поверхность воды и снова исчезая. Некоторые стволы, вынесенные на мелководье, застревали там, уцепившись корнями за дно, и только отдельные мелкие корешки топорщились над водой.

Крик больше не было; поток вздымался в предрассветных сумерках, устремленный к спокойному заливу, за которым начиналась где-то там далеко-далеко сфера действия моря. Время от времени на поверхности появлялись волны от ветра, которые мрачно разбегались во все стороны.

Дохлого розового лосося вынесло на песчаный берег, еле различимое цветное пятно среди застывшей раскинувшейся мглы, над которой, совершенно отдельно от нее, было бледное небо с бесцветной опрокинутой луной. Рыбина, вся распухшая, лежала на песке, скрытом под толстым слоем ила, казалось, она случайно вписалась в холодный сумеречный ландшафт, под стать таким же вздувшимся, обнесенным белыми дощатыми оградами холмикам индейского кладбища в редком низкорослом лесу, этим межевым знакам, отделявшим от потустороннего мира хижины с их черными и серыми стенами, которые стояли среди кустарника на узкой полоске земли, не подавая никаких признаков жизни, кроме гудения генераторов; брошенный костер на берегу реки все еще тихонько потрескивал.

Заселенная местность пересекалась бесчисленными тропинками, которые совсем не обязательно служили для того, чтобы соединять отдельные дома, многие из них просто вели к какой-нибудь группе деревьев, или уходили в лес и там обрывались, или же превращались в подземные туннели, которые уже в свою очередь разбегались в разные стороны, чтобы потом, где-нибудь глубоко под землей, перейти в запутанный лабиринт лисьих ходов. Непроходимые леса окружали поселок, и, более того, дремучие чащобы и весь этот доисторический пейзаж сохраняли в целом свою исконную девственность и все еще господствовали здесь, даже на территории общины. Вся эта местность никогда не распахивалась, и потому здесь никогда не было никаких полей или каких-либо других форм ландшафта, отмеченных печатью цивилизации; если не считать небольших насыпей для жилых домов, в целом естественный рельеф земной поверхности здесь нигде не был нарушен, и даже более или менее широкие дороги следовали здесь многочисленным неровностям почвы, которая только с воздуха казалась плоской (единственным «полем», соответственно, была, не считая взлетно-посадочной полосы, возникшая в результате насыпных работ короткая и довольно широкая щебеночная дорога, которая, будучи закрытым объектом, вела к военной базе, расположенной среди болот). И поскольку большинство хижин были сооружены на сваях, то и под ними, на всей этой застроенной территории, поверхность земли сохранила свой первозданный вид со всеми ложбинками, впадинами и неровностями.

И, словно стараясь приладиться к неухоженному, первобытному ландшафту, жилые дома, разбросанные тут и там среди кустов, нигде не объединялись в группы; они были просто натырканы кое-как, каждый дом сам по себе, часто далеко от дорог, к которым они к тому же, как правило, были повернуты задней стороной. И не было ни одного-единственного места, откуда открывался бы вид на всю колонию в целом, которая была по-своему знаменита, являясь единственным поселением в здешних местах: каждое строение выглядело так, будто за ним ничего больше не было.

И только с самолета можно было бы случайно заметить регулярные очертания небольшого городка и в том, как он был расположен – среди непроходимых лесов на берегу реки, – усмотреть даже какую-то прелесть; какая неожиданность – увидеть сеть улиц, пересекающихся под прямым углом, и даже, как положено, главную улицу, разрезающую по диагонали город наподобие «Бродвея», – идеальное место, сочетающее в себе цивилизованность и природную первозданность, поблескивающее медными дверными ручками в утреннем свете и обволакиваемое туманом, поднимающимся из бесконечной светло-коричневой массы соснового заповедника.

Правда, в этой уютной и как будто бы плодородной долине реки – невысокие лохматые хвойные деревья можно было принять за виноградники – не хватало участков земли, занятых полями и лугами (отсутствие которых не осознавалось с первого взгляда), а также большой дороги, которая тянулась бы до самого горизонта. (А большинство хижин и все эти поломанные машины и проржавевшие электроприборы, разбросанные повсюду, превращались, если на них смотреть сверху, в развороченные контейнеры для мусора.)

Дом с высокой крышей принадлежал вместе с белой деревянной церковью к числу самых высоких строений в здешних местах, и только в нем имелся чердак, который оба обитателя дома временно использовали под фотолабораторию; высокая крыша служила своего рода ориентиром, потому что даже в пределах заселенного района нетрудно было заблудиться среди всех этих кустов и болот.

Зоргер рано встал и поспешил заняться делами. Солнце еще не взошло, но гладкие камушки уже поблескивали на берегу, где в этот момент он и стоял, зарисовывая выглядывавшую из воды ближайшую отмель, по которой тянулись горизонтальные бугристые линии, получившиеся из вынесенных на берег листьев, бурелома и хвои, – отметины, показывающие, как резко понизился за ночь уровень воды. Было холодно, но он не чувствовал этого; любая

погода оживляла его, если только ему удавалось выйти на свежий воздух и, собрав все свои силы, отдаться ему целиком и полностью.

Он предпочитал рисовать, а не фотографировать, даже если речь шла о материале для работы, потому что только тогда он постигал ландшафт во всех его формах, и всякий раз он не уставал удивляться тому, какое множество форм обнаруживалось при этом даже в тех местах, которые на первый взгляд казались пустынными и монотонными. Кроме того, перенося на бумагу, линия за линией, рельеф той или иной местности – по возможности максимально точно, избегая принятой в его науке схематизации и ничего не опуская, – он одновременно приближал к себе эту местность, так что потом он с чистой совестью мог сказать, пусть всего-навсего самому себе, что действительно побывал там.

Водное пространство, как обычно в это время года, было пустынным, и вместе с тем оно казалось в это словно воссиявшее из недр земли утро как будто снова вздыбленным по краям той краткой эпохой рубежа веков, когда оно, со всеми тогдашними колесными пароходами, курсировавшими по нему, со всеми доками и складами, размещенными тут торговыми компаниями, со всеми золотоискателями, заполонившими все вокруг, влилось во всемирную историю: и все то, что безвозвратно ушло в пластмассовые дуршлаги из искусственной «trading post», в миниатюрные экспедиционные сани, которые вырезали индейцы, работавшие на дому, и стершиеся надписи на надгробиях, которые от резкой смены погоды здесь стираются быстрее, чем в других регионах земли, – все это двигалось, увлекаемое безвременно-бессознательным потоком, превратившись в сознательное вечное течение; и наблюдатель, ощутив умиротворение, утешился, повеселел, и ему захотелось что-нибудь сотворить.

Прочная матовая гладкая бумага блокнота, под углом очиненный карандаш для толстых и тонких линий, красота вспыхивающего и затухающего огонька сигареты, и безветрие, когда дым не улетает, а медленно стелется по земле.

Первые краски ландшафта как самодостаточные предметы: красный цвет щебенки, синий – канистры, желтый – ланцетовидных листьев, белый – березовых стволов. В траве виднелись раскрывшиеся бутоны дождевиков. А где-то там поднимался мохнатый стебель мака, цветок которого был не красного, а восхитительного матерчато-желтого цвета. Акации, как водится с темными колючками, росли тут только кустами, а не деревьями. От ярко-красных ягод рябины, внутри с ледяною мякотью, холоднее любого снежка, еще долго жгло ладони. Кирпично-красный цвет ивовых веток как на картинках. И почти такой же коричневый цвет косматой медвежьей шкуры, прибитой гвоздями к стене сарая.

Первые движения – легкий туман над поверхностью воды, тянущийся на восток. Из отверстий в глиняном берегу вылетело несколько ласточек-береговушек, которые тут же вернулись назад. Черные дворняги копались в мусоре, а потом превратились в гигантских ворон, взмыли в воздух и принялись кружить, с шумом взмахивая крыльями, над человеком; с хрипылыми призывными криками они развернулись и полетели прочь; одна из них сделала еще круг над стоящим, она летела совершенно беззвучно и так низко, что взмах ее крыльев можно было принять за гудение приводного ремня.

Выброшенные за ночь на берег рыбы уже все были съедены; от выклеванных глаз остались только тут и там следы на мягком песке. Бездомная собака рыскала по берегу, серебристо-серого цвета, с голубоватыми глазами и белой мордой: настоящее лицо. Она подцепила мертвую чайку и принялась таскать ее по песку, вгрызаясь в нее клыками – единственный звук во всей округе. Цепные псы в поселке повылезали из землянок и, разбежавшись, насколько позволяли цепи, в стороны, скулили и подвывали, пока еще со сдержанной яростью.

Потом подключился обычный утренний шум от транспорта, но на земле не видно было ни одной машины, зато над кустами возникло множество небольших самолетов, и такие же небольшие самолеты загудели в пространстве на той стороне реки. «Ты должен знать, что еще ни один человек на свете не отдавался настолько, что ему уже нечего было бы больше отдать».

Кого ему чтить? Разве почитание не было его сокровенной потребностью? Разве он не хотел быть зависимым от кого-нибудь? Есть ли на свете тот, для кого он мог бы сделать что-нибудь? И где он теперь?

Банки из-под пива, не просто сплюснутые колесами машин, но еще и вмятые в грунт дороги, являли собою неопровержимое доказательство дошедшего до предела насилия и неведомого ему доселе отчаяния, которое он теперь отчетливо ощущал, отчаяния от неисправимости дефекта и каменного отсутствия, от которого теперь взвыли все собаки в деревне, заходясь в бешеном лае.

Коллега Лауффер, облаченный уже в свою неизменную жилетку с множеством карманов и высокие сапоги, бегал теперь где-то на заднем плане перед развевающейся на ветру сетчатой корзиной, которая помещалась над входной дверью, и играл сам с собою в баскетбол, а Зоргер на подходе к дому прибавил шаг, подбежал и, перехватив у приятеля мяч, включился в игру.

Солнце начало подниматься, далеко-далеко в долине, медленно и немного под углом, оно затемнило ландшафт густыми тенями: и эта темнота или, скорее, тьма повисла на целый день, зияя между деревьями и кустами провалами, которые практически не уменьшались и никуда не смещались; и вот на этом самом месте с того самого момента, когда Зоргер включился в игру, время переоплотилось, как на открытой сцене, в сумеречно-солнечное пространство, обыденно, без смены дня и ночи, и он утратил самоощущение: он не был ни активным носителем действия, ни бездействующим, ни вмешивающимся в ход событий, ни свидетелем.

Он как раз отпихнул своего противника, понюхал мяч, вдохнул запах чужого пота, потом своего, а сильный Лауффер обхватил его за пояс и, не церемонясь, отставил в сторону, – когда несколько отдельных ласточек, покинутых стаей, с белыми брюшками, более круглые и мелкие, чем в других местах, выпорхнуло из своих гнезд на берегу и устремилось на середину реки, чтобы потом, словно долетев до невидимой запретной черты, резко развернуться и полететь обратно, и так они носились целый день, повторяя это свое двучастное длинно-короткое движение, и все последующие дни, пересекаясь порою с неторопливо летевшим вверх по течению светло-белым орлом, с которым они проделывали тогда какую-то часть пути.

В этом временном пространстве царил бесконечное настоящее, бесконечная всеобщность, бесконечная обитаемость. Настоящее являло собою всецущее, где некогда любимые умершие дышали вместе со всеми, а самые далекие возлюбленные, находясь в доступном пространстве, чувствовали себя защищенными и пребывали в хорошем расположении духа; всеобщность была чужбиной, в которой не было больше вынужденного бегства или возвращения домой, как не было и принудительного участия в привычках местных коренных жителей; и обитаемость означала одомашненность и офабриченность всей местности, где была возможна индивидуальная отделенность при отсутствии необходимости следовать устоявшимся привычкам, какие обычно вырабатываются в жилых помещениях.

Осеннее солнце светило слабо, быть может, оно было жарким, а может, оно поблескивало где-то там, на поверхности воды, – в любом случае оно было чем-то большим, чем просто равнодушный источник света за спиной или перед глазами. И листья падали на тарелки, расставленные на столах, вынесенных на улицу, или сбивались в светлые стаи и неслись по течению реки; а может быть, это были вовсе не листья, птицами они вспархивали из травы и исчезали в кустах, застывали на месте, скованные закружившим их ужасом, чтобы потом помчаться земными тварями совсем в другом направлении, или выглядывать лягушачьими головами из-под желтого слоя листвы в черноватом болотце, или упасть на землю диким зверем, убежавшим далеко-далеко в долину и настигнутым пулей; а может быть, все это в конечном счете было лишь листьями (подобно тому как тела птиц, падавших с деревьев, оказывались всего-навсего корой, облетающей на ветру).

В это время такие процессы протекали не просто как странные недоразумения, возникшие по безобидной неосмотрительности того, кто случайно упустил из виду отдельные детали

и все перепутал, они были настойчивыми знаками, обращенными к самим процессам, которые, подобно времени года, преобразующемуся в большой круг («годовой цикл»), могут, каждый в отдельности, независимо от того, кто наблюдает за этим в данный момент, превращаться из однозначных временных процессов в многообразные пространственные события: путаница лишь на первый взгляд, на самом деле преобразования, столь желанные вовне, там, где, согласно законам природного действия, в глубоком смотровом пространстве происходят «постоянные, уникальные» встречи растений с животными, с людьми, а также отсутствующего с происходящим там. Пейзаж, смешав в процессе преобразования историю Зоргера с событием северной осени, превратился снова под действием этой человеческой истории во временной свод, внутри которого все еще пребывал этот самозабвенный человек, без судьбы, но и без ощущения неполноценности (вообще избавленный от чувства перемен).

В пейзаже даже было место (которое Зоргер каждый день зарисовывал), где вся эта всемирная история, в которой больше не происходило ничего выдающегося или хотя бы неожиданного, разворачивалась перед его взором в обозримом пространстве. Это место не то чтобы бросалось в глаза, как определенная точка или пятно; оно возникало лишь по мере того, как рисовальщик углублялся в процесс рисования, и только потому поддавалось описанию.

Речь шла о срединном участке совершенно обычного ландшафтного среза, выбранном Зоргером из-за изломанной линии, возникшей вследствие землетрясения на переднем плане, и фрагмента лёссовой террасы вдаль. Этот срединный участок, в котором не было ничего особенного – ни единой ландшафтной формы, никакой заболоченной впадинки – и который он зарисовывал, подчиняясь своеобразному чувству долга, превратился со временем без каких бы то ни было усилий с его стороны в совершенно самостоятельную часть пейзажа. Это была совершенно гладкая степная поверхность, без древостоя или подлеска, с несколькими хижинами и прямой, будто начерченной по линейке, дорогой перед ними, на заднем плане ограниченная не слишком плотным лесным массивом, который, однако, был достаточно близко, чтобы хорошо видеть его, в то время как все то, что располагалось на переднем плане, все эти бесчисленные мелкие формы, доступные непосредственному наблюдению, складывались в глазах рисовальщика в некую разбитую на множество садовых участков полосу, тянувшуюся как будто по краю леса: между этими двумя участками, отчетливо выделявшимися на фоне общей картины пейзажа, виднелась бесформенная промежуточная территория, которая между тем находилась на одном и том же уровне с ними, как будто помещенная туда кем-то, напоминающая луг, образовавшийся за несколько недель, и вместе с тем являя собою в конечном счете образец человеческой долины в области вполне допустимого вечного покоя.

Пересекавшие эту осенне-солнечную территорию индейцы передвигались по ней каждый божий день либо влево, по направлению к работе, либо назад, вправо, следуя домой, точно так же как их дети по утрам отправлялись в школу, каждый сам по себе, с тем чтобы днем, уже группами, вместе идти домой: здесь и проходили все их жизненные процессы без каких бы то ни было особых происшествий; всякий, кто вступал на эту сцену, заменял собою того, кто только что сошел с нее на другом конце; те же, чьи пути пересекались, останавливались ненадолго и снова расходились, они перемещались только между дворами и никогда не выходили за пределы общего пространства, занимаемого деревней, а лающие собаки в кузовах грузовиков выполняли роль их домашних животных, которых они выводили на прогулку.

Совершенно иначе, чем в супермаркетах, или в клубе, или в баре, выглядели все эти находящиеся в постоянном движении люди, перемещавшиеся по срединному участку, являя собою крепкое, живое, а по временам и весьма жизнерадостное сообщество; эта картина разрушала представление Зоргера о них, сложившееся из множества предубеждений, и он знал, что может верить этой картине. До сих пор индейцы действительно представляли нередко как некая враждебная раса, а он сам был на их территории незванным гостем, который к тому же, если судить по внешним признакам, принадлежал к западной части мира. «Великий индей-

ский народ» – так мог он когда-то думать про себя, теперь же, когда его наконец перестали воспринимать как «чужака» и вообще как «другого», он позволил себе включиться в их жизнь или же был просто рядом, что воспринималось как само собой разумеющееся; в результате их бесконечные ругательства в адрес «белых» относились к нему лишь в последнюю очередь.

Все эти месяцы они просто не замечали Зоргера. Они глядели прямо перед собой, когда он проходил мимо, иногда слегка задевали его, а потом оборачивались ему вслед, чтобы посмотреть, что это за препятствие возникло у них на пути, как оборачиваются после столкновения, чтобы понять, что это был за предмет, из-за которого все произошло; теперь же, когда он стал относиться к ним как к равноправным членам единой деревенской общины, он заметил, что и они со своей стороны стали хоть как-то его воспринимать, и он узнал, что только самому себе обязан тем, что они его не презирают. Правда, и теперь не бывало такого, чтобы они, проходя мимо, когда он стоял погруженный в свои мысли, со своими приборами, удоставали его кивка головы, и все же с тех пор, как исчезли барьеры, отделявшие его от них, он был уверен, что стал им значительно ближе: он больше не мешал им, и они перестали напрягаться при виде его, уже одним только этим выказывая по отношению к нему некое внимание, что само по себе было знаком дружеского расположения.

У Зоргера было такое чувство, будто здесь, на этой сцене, он впервые видит, как играют дети индейцев, будто он вообще впервые видит детей за Полярным кругом, будто даже взрослые стали такими близкими и понятными, что у него появилось ощущение, словно и они, независимо от того, что они такое делают, – пусть даже просто проносятся в автомобиле, – они играют для него. *Он* стал раскованным, и *они* тут же принялись играть.

А вечером он и впрямь отправился в переполненный бар, где они сидели как в полутемном кинотеатре, друг за дружкой. Он ни на кого особенно не смотрел (его взгляд улавливал сразу множество лиц), и они не обращали на него особого внимания: только в их движениях вокруг его места чувствовалось внимание, в них было что-то от танца. Бывало, конечно, такое, что какая-нибудь физиономия с нескрываемой угрозой приблизится к нему, но уже через мгновение это лицо исчезало, сделавшись вполне миролюбивым, потому что в ответном взгляде не было никакой реакции на эту угрозу, но не на лицо. (Если же захмелевший забияка продолжал угрожающе стоять, потому что не желал вникать в смысл взгляда другого, то тогда обыкновенно подходила какая-нибудь индианка, из старших, поворачивала застывшую фигуру к себе и увлекла его за собою, погружая его в долгий печальный танец, после которого он уже не возвращался.)

Зоргер не был частью племени индейцев, но он сливался с ними, когда оказывался в помещении бара, или в поселке, или вообще на их территории; он не то чтобы забыл, что у них другой цвет кожи, он просто перестал ощущать собственный цвет кожи, когда находился среди них. Порою он даже думал, что мог бы вполне остаться здесь навсегда, войдя в один из их кланов; а может быть, все дело было в том осеннем пространстве, которое являло собою нечто вроде естественного представления, рожденного видениями дня, представления, которое затмевало мир личных представлений Зоргера: словно сама природа являла этому мужчине, довольному одним своим присутствием здесь, соответствующую сверхличную историю. Он жил бы здесь со своей семьей, в деревне, в которой, конечно же, есть церковь и школа, и, быть может, своей работой он смог бы даже приносить какую-то пользу общине. Церковь, школа, семья, деревня: за всем этим скрывались какие-то совершенно новые жизненные возможности, и Зоргер воспринимал теперь дым, который днем поднимался над крышами хижин, что стояли на срединной полосе, как нечто совершенно новое; разумеется, он уже не раз видел этот дым, но так, как теперь, он видел только однажды – вот только где и когда? Без «где и когда» – это было облегчение оттого, что теперь не нужно было думать, будто здешние люди – всеми забытые и никому не нужные, живущие на заброшенной полоске земли, «где ничего нет». Здесь было все.

Теперь он встречался с индианкой открыто и даже представил ее своему коллеге Лауфферу, хотя обычно он не афишировал свои связи с женщинами. «Это моя подруга», – сказал он, и с тех пор она иногда даже приходила к нему в дом с высокой крышей, приходила с детьми или же одна, чтобы составить партию в карты. Зоргеру даже хотелось показаться с ней, только он не знал кому. Прежде он никогда не чувствовал, что взгляд ее необыкновенных глаз с едва различимыми на фоне темной радужной оболочки черными зрачками обращен именно к нему, теперь же он доверял ей – и ловил ее взгляд (который был таким же, как и всегда). Бывая у нее, он по-прежнему как будто отсутствовал, но в то же время чувствовал постоянную связь с ней и не испытывал при этом больше чувства стыда, а только принадлежащее наконец только ему и никому больше желание, в котором теперь для него не было ничего странного. Ему казалось, будто только в ней он обретал настоящее ощущение притяжения земли; и как-то раз ночью они оказались на высокогорном плато, которое неожиданно оказалось слишком малым для них: они разрослись до нечеловеческих размеров и превратились, не веря самим себе от желания, в целый мир друг для друга.

Давным-давно Зоргер приписал себе способность к счастью. Эта способность проявлялась в виде братской легкомысленности, которая порою сообщалась и другим. Постепенно потребность в состоянии счастья исчезла; он даже боялся этого, как какой-нибудь болезни. И только иногда он несказанно удивлялся тому, как радостно бывает другим людям рядом с ним: именно это сообщило ему, пусть ненадолго, чувство уверенности в том, что он, живя против течения времени, все равно ведет правильную жизнь, хотя это и не избавляло от постоянно возникающего чувства вины за то, что он не беспокоился о продолжении. Правда, теперь он не обещал больше будущего, он был всего-навсего поводом; а ведь однажды ему привиделось, будто они с женщиной раскланялись и разошлись, каждый в свою сторону; но так, как они могли теперь быть вместе, – это было союзом навсегда.

Прощаясь, он свободно двигался теперь в другом языке, не стараясь, правда, при помощи особых словечек или интонации подделаться под местных. Он утратил ощущение собственного голоса в процессе говорения; подобно тому как он, являя собою сущность, оказался пережитым осенним ландшафтом, так и говорение представлялось ему сливающимся с говорением другого. Он вообще начал получать новое удовольствие от иностранных языков и собирался освоить еще несколько. Он сказал:

– В той стране, откуда я родом, невозможно было и помыслить себе, что ты принадлежишь к этой стране и к этим людям. Не было даже и самого представления «страна и люди». И вот теперь именно эти дикие места заставляют меня задуматься над тем, чем может быть деревня. Почему только эта чужая земля оказалась тем местом, где можно остаться?

Теперь и Лауффер, которому после его Европы казалось, будто время тут слишком тянется – он, как ребенок, рано ложился спать – «как в интернате, чтобы можно было подумать о родных» – и подолгу спал, он, как какой-нибудь добропорядочный крестьянин, хозяйничал в округе, словно это был его геологический сад.

Нередко он поднимался раньше своего приятеля и сооружал из бутылок, дощечек и металлических пластинок приборы, при помощи которых он мог фиксировать изменения берегов под действием воды и ветра, сдвиги склонов (подземное «оползание» или «течение»), вспучивание грунта, вызванное мерзлотой.

Лауффер, исследователь склонов, перестал в конце концов, как прежде, запаковывать себя в свой рабочий костюм, в котором он, надо сказать, выглядел по-исследовательски, но вместе с тем как-то удивительно бездарно: в своей полурасстегнутой фланелевой рубашке, в светлых льняных брюках, сужающихся книзу, на широких подтяжках, он превратился в обычную неспешную фигуру местного ландшафта, ничем не отличаясь от других.

Сооружал он в основном разнообразные так называемые песчаные ловушки – горизонтальные, с расположенными в ряд отделениями (они служили для измерения перемещения

песка по горизонтали), и вертикальные, в несколько этажей, для измерения количества перемещенного ветром песка от поверхности земли вверх. Кроме того, он использовал бутылку-ловушку, которую он прятал в песке, так что наружу, из недр земного царства, неприметная постороннему глазу, выглядывала лишь вставленная в горлышко воронка, обращенная отверстием к скользящему по поверхности земли ветру. Свои многочисленные ящики для сбора мелкого щебня, размещенные им у основания каждого склона, добросовестный Лауффер, во избежание попадания щебеночных включений со стороны, которые искажали бы реальное движение склона, обнес заборчиками. А для того, чтобы можно было определить то, что в его терминологии называлось «раскаблучиванием» камней в недрах склона, он брал свинцовые пластинки и погружал их в вертикальном положении в отверстия в грунте, пользуясь при этом специальным зондом, который имел точно такую же форму, что и пластина, – так наблюдал он за перемещением щебенки, которое он измерял по наклону пластинки, после того как осторожно раскапывал ее. Оборудовав территорию всеми этими приспособлениями, он целыми днями ходил от одного к другому в ожидании результата, как какой-нибудь зверолов.

Но больше всего его привлекали участки земли под хижинами, покоящимися на сваях: эти малые грунтовые формы, не подверженные влиянию погодных условий сверху, были иными, чем те изначально родственные им формы за пределами свайного пространства, которые с течением времени подверглись разрушению.

Это микроскопическое наблюдение, ставшее его открытием, необычайно взволновало его: небольшая природная форма, не уничтоженная цивилизацией, а, напротив, сохранившаяся именно благодаря ей и почти что не тронутая временем. Аналогичное явление, только с обратным знаком, можно наблюдать в южноамериканской пустыне, где никогда не бывает ни дождей, ни оттепелей, где уже сто лет не было ветра и потому сохранились не тронутые природой следы человеческих ног и лошадиных копыт из давних-давних времен. (Горы в той пустыне под воздействием ветров стали совершенно темными, так что теперь излучаемое ими тепло не пропускает никакого ветра.) Лауффер хотел написать специальную работу, где собирался сравнить оба явления. «Это будет не исследование, – говорил он, – а скорее описание картин».

Зоргер сказал:

– У меня бывает так, что иногда, когда я пытаюсь представить себе возраст и возникновение различных форм в одном и том же ландшафте и то, как они соотносятся друг с другом, я, именно из-за головокружительного многообразия, открывающегося в этом одном-единственном емком воображаемом образе, начинаю, если мне все же удастся в конце концов вызвать его, фантазировать. В такие мгновения я, не будучи философом, все же знаю, что я совершенно естественным образом философствую.

Лауффер:

– Но в этом случае твои мысли не имеют отношения ни к существу изучаемого предмета, как того требует профессиональный подход, ни к настоящей философии, судить о которой мы не имеем никакого права. Мне лично доставляет радость – при этом сугубо индивидуальную – только какая-нибудь мимолетная философская фантазия. Моя наука дает мне возможность видеть такие сны наяву, каких другие не видят даже во сне.

Зоргер:

– Тогда тебе есть что мне рассказать.

Лауффер:

– О ландшафте?

Зоргер:

– О ландшафте и о себе.

Страсть к собирательству; удовольствие от порядка (даже от прямоугольного стола); наслаждение просто от жизни в помещении; вновь обретенная радость ученичества; удовлетво-

ренность телом: его потребностями, даже если это просто функционирование. И то, что ничего больше не нужно хотеть: не беда. Исполнение: ничего сверхъестественного. Мысль никуда не делась, но перестала упрямо думаться. Ощущение постоянно теплой головы: нет личных мыслей, нет никакой устремленности к концу, нет никого, кто, задыхаясь, продумал бы тебя («помоги мне»), есть только глубокое дыхание («кому быть благодарным?»), а потом – ничего кроме *со-мыслия*. Со-мыслие с землей в мысленном представлении о земле как о мыслящем мире без границ. Мире, приведенном в движение моим собственным кровообращением, мире, который кружится вместе со мною, наконец-то помысленным как нечто всего лишь *мыслимое*. И больше никакой крови, никакого сердцебиения, никакого человеческого времени: только мощно пульсирующая и содрогающаяся от собственного пульса всепрозрачность – и ничего больше. И нет столетия, есть только время года. Лечь – встать, встать – прыгнуть и побежать. Желание говорить и спорить. Нежелание играть, но вместе с тем удовольствие наблюдать за тем, как играют другие. Сильный порыв ветра, но ни один лист не падает с берез. Некоторое время тишина: а потом другой легкий ветер, и листья стаями слетают на землю. Высохшая пойма реки и сбившиеся в стаю чайки, которых с неспешностью облака относит куда-то в сторону. Белый вороний помет на дохлых рыбах, из которых торчат ивовые прутья. Стреляные гильзы на песке, выстрелы где-то в другом месте. На стуле в доме висит рубашка, сквозь верхнюю петельку просвечивает низкое солнце. Комната, вздрагивающая под тенью пролетающей птицы (или самолета). «Привет вам, улыбающиеся мертвецы»: но только собственная память улыбается в голове подо лбом, слишком слабая, чтобы вернуть мертвецов, которые на мгновение всплывают наподобие скособочившихся мешков. Эй, река! И ты, дом! (Выкрики.) В проеме открытого окна снаружи стоит вернувшийся с работы друг. В лужах кружатся по кругу листья. И травинки кажутся опавшими листьями.

День накануне отъезда Зоргера из северной долины совпал с годовщиной открытия континента и считался праздничным. Была уже почти середина октября, и с утра на реке было слышно легкое пощелкивание воды о тонкую кромку льда, выросшего внизу у высоких берегов; на льду лежали разбросанные кристаллики снега; небольшие льдины на поверхности воды оказались все теми же чайками, которых сносило все дальше и дальше.

Рядом с заброшенной, уже полуразвалившейся хижинкой стояла береза, на которой все еще висела баскетбольная корзина с сеткой, завернувшейся от сильного порыва ветра на железное кольцо. Испещренная мелкими морщинами река являла собою ландшафт, в котором движение ветра отметило темные места наподобие песчаных отмелей, перемещающихся под водой. Белые стволы деревьев с пятнами теней нередко напоминали Зоргеру впоследствии кошку, как она, свернувшись клубком, лежала на столе перед окном, такая уютная и домашняя, какими бывают только домашние животные.

Лауффер еще спал, свернувшись калачиком, как кошка; среди ночи он встал и отправился в гостиную. На вопрос о том, что он там делал, он только пошевелил своими толстыми губами (которые напомнили сидящему в постели Зоргеру брата) и что-то пробормотал, с трудом ворочая языком, при каждом звуке закрывая глаза (не просто моргая), как это у него произвольно получалось, когда он лгал: только тогда Зоргер понял, что его друг страдает лунатизмом.

Теперь он выглядел так, будто собирался еще долго спать; а в его ловушки тем временем ветер нагнал большой улов. Глядя на него и на животное у окна, Зоргер вновь обрел (столь легкомысленно забытое) чувство течения времени и одновременно с этим обнаружил, как не хватало ему его собственного невесомого бытия последних дней, которые прошли у него так, словно уже «настало время, когда его здесь не будет»: во всех этих картинах, свободно разворачивающихся на среднем плане без рождения и смерти, ему тем не менее не хватало не столько чувства самого себя, сколько осознания себя как чувства формы: и открыл он ее только

сейчас, когда, глядя на скрюченного лежащего человека, осознал себя созерцающим, в овале его смертных глаз, прозревающих еще только чистую образность – осознание было чувством этой формы, и чувство формы было умиротворением. – Нет, он не хотел быть ничем.

Зоргер вместе с кошкой, которая последовала за ним и «сегодня, казалось, кое-что знала», вышел на улицу. На песке были выложены кольцами выброшенные на берег палки, или их прибило сюда так случайно, и он представил себе, что, быть может, это индейцы решили этими кольцами отгородиться от праздника и от тех, о ком нужно было вспоминать в связи с этим, и весь поселок предстал перед ним как некое тайное кольцо, внутри которого он, как посвященный, совершает свой последний обход.

И действительно, кое-где телеграфные столбы на военной дороге были расписаны тотемными символами. Следы от шин на раскисшей дороге можно было вполне принять за индейскую тайнопись; а лосиные рога, красовавшиеся над дверями приземистых деревянных клезетов, призваны были, наверное, отпугивать чужаков, которые проникли сюда, не имея на то никакого права. «Да, открыто» – эта обычная общекультурная формула на дверях супермаркета приобретала в этот день государственного праздника другое, особое значение, а из полицейской машины, проносящейся мимо (Зоргеру еще ни разу не доводилось видеть ничего подобного в здешних местах), смотрели торжественным строем невозмутимые анонимные лица оккупационной власти, на которую народ только и мог что спустить своих собак.

– Хождение по кругу и игра ума, – сказал Зоргер кошке, которая следовала за ним на некотором расстоянии, останавливаясь всякий раз, когда он задерживал шаг.

Дети и те все были в школе; сквозь затемненные стекла он видел только, что они сидят в плоском вытянутом здании, но совершенно не различал их лиц, лишь множество круглых иссиня-черных макушек, которые вдруг сделались ему такими родными. Кто-то со свистом продудел на флейте американскую рождественскую песенку – не случайно, а как будто специально фальшивя. Какой-то ребенок показался в окне и, заметив глядящего на него Зоргера, выдул огромный пузырь из жвачки, который тут же лопнул. Завернув в контору, он полистал висящий на цепи альбом с объявлениями о розыске преступников: многие разыскиваемые имели большой опыт выживания на свободе и татуировки «Born to lose».

Скользнул взглядом по кладбищу: почти все здесь умерли молодыми; земля, пупырчатая от множества попадавших шишек, расцвеченная крапушками белесых грибов, растущих здесь кучками. Завернул в деревянную церковь, сел передохнуть: занесенные с улицы ветром листья между стульями и на скамейках вокруг стола, на котором разложена библиотека; на органе раскрытые ноты; из примыкающего помещения, в котором располагалась квартира священника, запах пережаренного жира, на котором что-то готовилось на завтрак. На улице взгляд выхватывает развешенные между деревьями одинаково темные вещи индейцев, а за окнами хижин – очертания их обитателей, которые были такими маленькими, что, даже когда они стояли в полный рост, видны были только голова и плечи: вот так он не просто ушел от них, а все же сумел попрощаться.

Ветер был сильным, настолько, что от него на ходу расстегнулись все пуговицы на пиджаке, но вместе с тем теплым, с ледяными порывами, от которых во рту оставался вкус снега. Кошка время от времени останавливалась и провожала взглядом тени в домах; когда он взял ее на руки, она нахихлилась и задышала ему холодом в лицо: она не выносила, когда ее на улице носили на руках.

Сопровождаемый кошкой, Зоргер вышел на берег реки и, замыкая круг (под конец энергичная ходьба перешла в бег), подумал: «Сегодня я впервые увидел дворы вокруг домов и обнаружил, что в поселке есть кольцевая улица».

Уровень воды за последнее время так упал, что между отмелями образовалось множество лужиц, в которых вода бурлила и кружилась так, будто там трепыхалась пойманная рыба: «и здесь все тот же круг». Никого не было видно, и все же со всех сторон из глубины речного ландшафта

шафта доносилось эхо людских голосов (вместе с пронзительным писком одной-единственной ласточки-береговушки на фоне шершавых звуков от пустых лодок, скребущих днищем о прибрежный песок), – и Зоргеру показалось, будто все население деревни собралось здесь, в излучине реки, все до единого, как «Большая водная семья»: «только здесь и нигде больше» существовало речное пространство, от истоков до устья, о котором «стоило говорить»; здесь вообще было «единственное место на земле, которое заслуживало внимания» – вот что читалось в линиях строчек, начертанных отступившей водой на песке (кромка противоположного берега находилась уже «по ту сторону последней границы»).

Звуки, доносившиеся из глубины безлюдного речного пространства, были звуками языка индейцев, и все же у Зоргера было такое чувство (хотя он и не понимал ни одного слова), будто он слышит родную речь, вернее, то особое наречие, принятое в той местности, которая некогда была родиной его предков. Он опустил на корточки и заглянул кошке в глаза, которая в ответ на это отпрянула в сторону; а когда он попытался погладить ее, она, по-видимому, сочла эту ласку настолько неуместной за пределами дома, что тут же поспешила удрать от него, – в движениях беглянки было что-то от бегущей собаки.

У его ног широкой полосой тянулся высохший растрескавшийся ил, который напоминал растянутую сеть с почти что правильными многоугольными ячейками (в основном шестиугольными). От долгого созерцания этих трещинок они постепенно начали действовать на него, но не так, как на землю, – они не разламывали его на множество кусочков, а, наоборот, собирали все его клетки (только теперь пустота могла быть заполненной) в некое единое гармоничное целое: от раздробленной поверхности земли взлетало нечто такое, что делало тело мужчины сильным, теплым и тяжелым. И когда он стоял так без движения, созерцая рисунок, он представлял себя своеобразным принимающим устройством, которое принимает не какое-нибудь сообщение или послание, а некую двуединую силу, которая может быть принята его лицом, настроенным на два разных уровня: он действительно почувствовал, что на лбу исчезла поперечная кость, – только потому, что теперь он не мог ни о чем больше думать, как только о том, чтобы подставить этот заслон воздуху; и поверхность книзу от глазниц, почти под прямым углом по отношению к поверхности земли, будто заново обрела черты некоего лица, с человеческими глазами и человеческим ртом; каждая деталь сама по себе, существующая отдельно, – но не по воле сознания; и ему действительно показалось, будто полукружья опущенных век превратились в локаторы. И склоняющаяся все ниже голова означала при этом не просто какое-то произвольное движение, а выражала решимость: «Здесь все решаю я, и только я». Теперь, если бы он открыл глаза, он был бы готов ко всему; и всякий его взгляд, даже устремленный в пустоту, встречал бы другие взгляды; более того, эти другие взгляды самим своим существованием были бы обязаны только ему.

Шуршание реки теперь – и снова отчетливо мягкий шелест в кустах, как в тот летний день, когда он приехал сюда, – первый знак речного ландшафта.

Человек, поднявшийся с земли, не испытывал никакого восторга, только успокоение. Он не ждал больше никаких озарений, только соразмерность и длительность. «Когда мое лицо будет дорисовано до конца?» Он мог сказать, что радуется жизни, что принимает собственную смерть и любит мир; и от него не укрылось, как в ответ на это река замедлила свой бег, и засверкали кустики травы, и загудели нагретые солнцем бочки из-под бензина. Он увидел рядом с собою один-единственный желтый лист на ослепительно красной ветке и понял, что и после своей смерти, после смерти всех людей он будет возникать из глубины этого ландшафта и всякому предмету, которого касается теперь его взгляд, он будет давать очертания; и от этого ощущения на него снизошла такая благодать, что он вознесся над верхушками деревьев: его лицо при этом осталось внизу – маской, «изображающей счастье». (А потом даже появилось нечто вроде надежды: в виде чувства, что ты что-то знаешь.)

Зоргер, «герой», пользуясь моментом, оставил лежать камушек, который хотел уже было сунуть в карман на память об этом ландшафте, и помчался по траве, раскинувшейся лугом, к деревянному дому с высокой крышей, туда, где на пороге сидела пятнистая тварь, которая в очередной раз забыла о его существовании. Почему Лауффер однажды сказал, что он, «конечно, хотел бы здесь жить долго-долго, но умирать поехал бы в Европу»?

А тот приветствовал вернувшегося домой каким-то подлым взглядом, исполненным превосходства: он оставался на том месте, которое покинул тот, другой. Он сидел в белых вязанных носках, в растянутой бесформенной рубаше, а из заднего кармана брюк торчал клетчатый носовой платок и перчатки – как у настоящего местного. Все идеи и представления вмиг разлетелись, и от досады Зоргеру даже не захотелось прощаться: как некоторые покидают место, когда все вокруг спит, а нельзя ли покинуть место в бессознательном состоянии, как будто ты сам спишь? И вдруг – идея: «Сегодня мы устроим прощальный вечер, а утром, на рассвете, когда ты будешь еще спать, я улечу почтовым самолетом».

Было решено днем вместе поработать; это означало, что оба они по всей форме пригласили друг друга принять участие в своей работе, в результате они сошлись на том, что вместе займутся аэросъемкой.

Одномоторный самолет, который они взяли напрокат, летел так низко над пространством реки, что можно было даже различить очертания небольших темных линий льда под растительным покровом. И хотя Зоргер уже не раз видел эту местность с высоты, теперь, когда он должен был покинуть ее, она впервые предстала перед ним в совершенно особенном виде. Он увидел эту в общем бесформенную поверхность как некое многочленное тело с незабываемым удивительным лицом, которое теперь склонилось к нему. Это лицо открылось ему во всем своем богатстве, оно тревожило и поражало: богатство не в смысле многообразия форм, а в смысле ощущения неисчерпаемости; оно тревожило почти что безымянностью бесчисленных, удивительным образом напоминающих человеческий мир (или предвосхищающих его) отдельных форм, которые, казалось, зывали об имени; поразительным же в этом лице было то, что при каждом взгляде в нем разворачивался мощный поток, перекатывающий волнами: изначальное представление никогда не соответствовало действительности – размах всякий раз превращался в новое событие, даже если ты отводил взгляд всего лишь на мгновение; представление было действительно непредставимым.

То, что Зоргер, забывший вскоре о фотографировании, сумел увидеть в речном потоке черты лица, объяснялось чувством глубокой благодарности и даже восторга, которые он теперь испытывал по отношению к тому месту, где он работал на протяжении последних месяцев. *Озера-подковы, родниковые кастрюли, ледниковые долины, лепешки из лавы, глетчеровое молоко из глетчеровых садов*: здесь, над «своим» ландшафтом, он понял такие обычные обозначения форм, которые ему всегда казались ненужной детской чепухой. С тех пор как он увидел здесь лицо, он вполне мог себе представить, что и другие исследователи, на своей территории, тоже видели нечто вроде неприятельных воображаемых замков, с *колоннами, воротами, лестницами, церковными кафедрами и башнями*, со всевозможными *чашками, плошками, мисками, поварешками, жертвенными котлами*, – расположенных, к примеру, в какой-нибудь *долине звучащих труб*, окруженной со всех сторон, скажем, *стайкой холмов*; и теперь ему захотелось всякому родовому понятию, к которому относится та или иная структура, подобрать какое-нибудь приятное имя собственное – ибо те немногочисленные названия, которые имелись на карте, либо появились в период золотой лихорадки («Ущелье миражей», «Озеро Фиаско», «Холм Отмороженная Нога», «Полудолларовый ручей», «Блефовый остров»), либо представляли собою просто какие-нибудь цифры вместо названий, вроде «Шестимильное озеро», за которым шло «Девятимильное озеро», расположенное за «Восьмидесятимильным болотом». Как совершенные образцы для подражания выглядели на этом фоне отдельные чисто индейские названия мест: «Большие Сумасшедшие горы» к северу от «Малых Сумасшедших

гор» или «Большой Неизвестный ручей», который протекал по «Малому Ветряному ущелью» и исчезал в безымянном болоте.

Хотя вода в реке даже летом бывала невыносимо холодной, Зоргеру вдруг представилось, как он плавает, ныряет и блаженно плещется. Разве реки не олицетворяли в былые времена богов?

– Какая хорошая вода, – сказал он и только тогда заметил, что окрестил реку (и отсеченные извивы реки заплясали внизу гирляндами).

Он никогда не думал, что сможет полюбить этот ландшафт, что сможет полюбить вообще какой-нибудь ландшафт, – и в тот момент, когда он проникся этой неожиданной симпатией к реке, он вдруг иначе ощутил и свою собственную историю, к нему пришло вдруг ощущение, что она вовсе еще не закончена, как это ему виделось в кошмарных снах, которым он сам верил, и, что бы ему там ни говорили, она шла дальше со смиренным терпением текущей воды. И перед лицом всего этого богатства пейзажа его пронзила радостная мысль, что ведь и он богат, бесконечно богат, и ему нестерпимо захотелось тут же с кем-нибудь этим поделиться, иначе можно было просто задохнуться.

Его следующая мысль была о том, что теперь он, наверное, сможет одолеть давным-давно запланированное исследование «О пространствах», и тогда он сказал Лауфферу, которому пилот в обмен на то, что Лауффер объяснил ему, как работает камера для аэросъемки, разъяснял, как функционируют приборы:

– Я хочу тебя потом пригласить позвонить в Европу.

Местный общественный телефон находился в ангаре за летным полем; в покато́м сарае, в дальнем углу, была выгорожена каморка без окон, в которой, как будто здесь постоянно кто-то жил, был стол с настольной лампой, кровать, покрытая волчьей шкурой, и маленькая печка (заказ выполнялся не сразу, и приходилось всегда долго ждать, пока дадут связь). В этой каморке на одной из двух жестяных стен, бывших в действительности частью ангара, висел телефон как некий подчеркнуто общественный объект; ключ от каморки выдавался в супермаркете на другом конце поселка.

Когда-то Зоргер частенько навещался сюда на своем джипе, к тому же ему нравилось сидеть за столом в этой темной кабине и ждать. Всякий раз за секунду до того, как для него наконец освобождалась линия и там, за океаном, раздавался звонок, комнату заполняли шумы спутниковой связи и вместе с ними возникал образ океанического пространства. Этот секундный шум приводил настраивающегося на телефонный разговор в возбуждение, не имеющее названия, и от этого возбуждения «тот, кто находился на этом конце провода», принимался выкрикивать какие-то слова «тому, кто находился на другом конце провода». Правда, потом, по ходу разговора, от этого ничего не оставалось, кроме рассеянности: голос другого, при всей прекрасной слышимости, казалось, все время удалялся в процессе говорения, к тому же вокруг него не было никаких побочных шумов (музыки, или собачьего лая, или просто еще какого-нибудь голоса на заднем плане); звонящий чувствовал себя заблокированным телефонным проводом, и собственный голос отзывался эхом в ухе, и легкое головокружение, после того как положена трубка, называлось «нереальность».

Со временем Зоргер, которого все еще неудержимо влекло к этому странному помещению, приучил себя ходить сюда только вместе с Лауффером, которого тогда он провожал, и вместе с ним сидел тут, поджидая, пил вино и играл в шахматы. Это превратилось даже в своеобразную традицию, Зоргер предлагал приятелю пойти позвонить, а тот в свою очередь приглашал составить ему компанию в качестве слушателя.

В Европе уже давным-давно шел день, а у них все тянулась ночь, покуда они сидели тут, в маленькой коробке маленького ангара. Единственным посторонним шумом было пощел-

кивание внутри аппарата, которое, впрочем, предназначалось кому-то другому, другому «township», другому квадрату этой глухомани, имевшему другой номер.

Зоргер никогда не прислушивался точно к словам Лауффера, погруженного в вопросы, ответы, рассказы, он просто смотрел, как тот, зажатый в углу, висит на телефоне, превращаясь то в истового оратора, то в истового слушателя: друг совершенно избавлялся от своей обычной несколько неуверенной манеры вести себя «как-мужчина-с-мужиной» и, приоткрывшись, показывал, кем он был на самом деле.

Последняя ночь в «Восьмимильной деревне» (вот как далеко к северу от Полярного круга) не обошлась для Зоргера без приключений, хотя ничего особенного и не произошло; просто напомнили о себе кое-какие мысли, которые уже давно посещали его время от времени и теперь требовали некоторого оформления; эти мысли касались одного обязательства, – не то что он не выполнил его, просто постепенно назрела необходимость сделать это, и оттого, что исполнение этого обязательства неизбежно требовало от него совершения неких непредставимых действий, он и увидел себя, правда без конкретных образов, переживающим первую ночь некоего приключения.

Зоргер, на которого иногда находило желание заняться чем-нибудь съестным, принялся готовить ужин не только для себя, но и для друга, и для индианки. Потом они все трое сидели за столом и играли в карты из новой, еще пахнувшей краской колоды, которую женщина принесла с собою в качестве прощального подарка. Картинки изображали ворон, орлов, волков и лис, а на джокере все эти звери образовывали круг, в центре которого помещалось лицо индейца.

В доме с высокой крышей имелась люстра с тонкими продолговатыми стеклянными висюльками, отбрасывавшими свет на карты в руках игроков, каждый из которых всматривался в свой мирно поблескивающий веер. Двери во все комнаты стояли открытыми, даже дверь в фотолaborаторию на чердаке, и во всем доме горел свет. Кошка с застывшим взглядом сидела на собранном чемодане Зоргера, подрагивая ушами и время от времени шевеля хвостом, который перемещался то влево, то вправо, потом она выпустила когти, которые теперь стали похожи на человеческие ногти, улеглась, подобрав под себя передние лапы, и наконец заснула.

У Лауффера блестел подбородок. На нем была шелковая рубашка и черный бархатный жилет с золочеными пуговицами, шелк на рукавах, перехваченных сверху тесемками, пузырился; впервые за все время он надел привезенные из Европы туфли, в которых до сих пор жили только обувные распорки. Он выстриг волосинки, торчавшие из носа и сидел теперь весь принаряженный, неспешно всякий раз выкладывая карты, а не бросая их на стол. Выигрывая, он радовался, впрочем без злорадства, проигрывая – сохранял мрачное достоинство. И это внутреннее самообладание и внешнее величие делали его совершенно неподражаемым.

Именно индианка, хотя они сидели за столом, у которого не было ни начала, ни конца, была как будто бы той точкой, откуда начинался круг. Она сидела не справа и не слева от мужчин, это они сидели по обе стороны от нее, и с нее все начиналось. Ее движения во время игры напоминали те движения, которыми она выдавала лекарства на работе: легкое, проворное, непрерывное, многорукое отдавание (при этом сбор причитающегося ей от каждого выглядел как сбор своеобразной дани благодарности). Она так нарядилась и так не поскупилась на украшения (на шее – амулет из нефрита), что перестала выглядеть как индианка, а превратилась в темную опасную машину в сияющем человеческом облике, и, стоило ей опустить свои человеческие глаза, чтобы взглянуть на карту, из пустых, опущенных век с черной окаемкой уже глядели глаза машины, пристально следившей за пространством.

«Да» (и это одно-единственное слово означало, что Зоргер наконец принял на себя то обязательство, которое до сих пор существовало только в виде неоформленной мысли): в какие-то моменты Лауффер и в самом деле был ему другом, и как ловко он сумел сойтись с

этой женщиной, соединив свое и ее настоящее, чертовски настоящее тело, – но какая наглость с его стороны, единственного, кто нынче снова уезжает, со стороны «чужака» (название какой-нибудь поганки), навязываться этой парочке, ведя себя как «друг» или «возлюбленный».

Зоргер не то чтобы предвидел этот союз, нет, он был у него сейчас, перед глазами, почти что законченная любовная пара: великолепный исследователь и божественная бестия.

Никто не спросил, отчего он смеется: они сами знали отчего. И уже в следующее мгновение Зоргер, продолжавший как ни в чем не бывало дальше свою игру, уже оказался перенесенным в самую гущу действия, разворачивающегося в глубине времен: посреди реки располагался узкий островок, слегка выступавший над водой, его особенностью было то, что в самом центре тут образовалось небольшое, почти что правильное, полусферическое углубление, из которого выглядывал густой и мрачный хвойный лес, хотя во всех других местах он был довольно редким. Быть может, этот котлован сформировался из подземной пустоты, в которую Зоргер – еще секунду назад видевший своих партнеров по игре прямо перед собою, а теперь едва достававший до них взглядом, потому что они вдруг отчетливо переместились к самой верхней границе верхнего поля зрения – соскользнул в мгновение ока как будто бы стремительно, но все же плавно, как во сне. И вот уже перед ним сплошной мох котлована, а за деревьями потягиваются темные медведи.

У Зоргера было ощущение, что он после пережитого триумфа оказался на улице. Свет из окон освещал его перемещения, снаружи больше не было ни огонька, ни звездочки на небе. Сначала он еще какое-то время видел, как те двое продолжают сидеть за столом, но потом ветки кустарника заслонили собою все удаляющийся светлый четырехугольник, постепенно прорастая в него, как будто кто-то замазывал окошко грязью. «Забудьте меня, пожалуйста». Он мало что видел перед собою – только по временам светлые очертания какого-нибудь камня, – так что ему приходилось продвигаться на ощупь, он шел расставив локти и проверяя каждый шаг. Не слышно даже плеска воды, только изредка тихое поскребывание.

Потом уже ничего не было видно в черноте; больше никаких картинок наконец. Все эти плоскости, выделяющиеся на фоне друг друга, независимо от их цвета (ведь бывает, кажется, «свадебный цвет»?), на какое-то мгновение напомнили ему мертвых, словно у него перед глазами были угаснувшие лица. Теперь он видел, где в этой крошечной тьме проходит река: густой антрацит на более блеклом черном фоне, и эти формы, как говорил один глубоко почитаемый им художник, были теперь его «исполнителями», но без «его застенчивости» и без «его стыдливости», и потому производили впечатление «его живых творений».

По науке Зоргер должен был бы, согласно общим правилам, сначала произвести стандартное описание рабочей местности, а исчерпав все специальные методы, перейти к последнему, который отличался от всех прочих и назывался «созерцание»; подобное «собирательное смотрение» производилось в условиях арктической ночи, разворачивающейся как черное на черном, и допускало некоторую спонтанность, не требовавшую при этом обычной трезвости мысли: спокойствие иного рода было в данном случае для него определяющим (он в самом деле чувствовал и центр, и глубину), и этот внутренний покой тут же изливался из него, он жег огнем ладони, выгибал стопу, заставлял почувствовать собственные зубы и превращал его всего в некое тело, которое стало органом всех чувств и было все обращено вовне: и на того, кто созерцал самого себя в сгущающихся полосках темноты, наваливался тот самый выражаемый одним-единственным словом «прекрасный» покой дикаря.

Двигаясь во мраке, он, будучи способным не только поворачивать голову, но и свободно вращаться вокруг собственной оси, направляя по своему усмотрению плечи, бедра, – он вдруг понял, что его жизни будет угрожать опасность. Он еще не видел самой опасности, но чувствовал ее; он не мог сам обнаружить ее, она была неизбежной; и он предчувствовал уже это неизбежное одиночество и непрерываемое удаление; и все эти предчувствия переплелись между собою, не складываясь, однако, в ясное, отчетливое предощущение, и вылились в одно-един-

ственное и головокружительное чувство, будто бы он вот именно сейчас оторвался ото всех своих любимых и дорогих и никогда уже не сможет к ним вернуться, и, опьяненный этим чувством, что он навеки останется один, ликуя, он воскликнул:

– Никто не знает, где я нахожусь. Никто не знает, где я нахожусь!

(И на какое-то мгновение вдруг выглянула луна, которая была встречена фырчанием.)

Рядом с ним в потемках раздался какой-то всхлип, словно заплакал потерявшийся ребенок. Или захрапел какой-то крупный зверь?

Оказалось, что это просто откашлялся какой-то человек, который стоял довольно близко, но все же явно вне пределов досягаемости, демонстрируя тем самым безобидность своих намерений; и вот между двумя фигурами, невидимыми друг другу, завязался разговор:

– Привет, чужеземец. Как самочувствие нынче вечером?

Зоргер:

– Спасибо, превосходно. А как у вас дела?

Собеседник:

– Короткая осень. Run out of fuel¹.

Зоргер:

– Вон там внизу, у реки, это не дрова лежат?

Собеседник:

– Хорошая река. Хорошее лето. Долгая зима. Быть может, ссудите мне квотер? (Рука, такая же теплая, как у него, взяла монетку.)

Собеседник:

– Благослови тебя Господь, дружище. Зеленое северное сияние, желтое по краям. А ты откуда?

Зоргер:

– Из Европы.

Собеседник:

– Я хочу тебе кое-то рассказать. Никогда не смотри долго на снег. От этого можно ослепнуть. Так вышло со мною. Хочешь еще историю?

Зоргер:

– Нет, спасибо.

Собеседник:

– Рад был с тобою встретиться, дружище. Не ешь много рыбы. Счастливо оставаться. Будь осторожным. Радуйся самому себе. И доброго тебе пути. Touch home soon².

Зоргер слышал, как человек, о котором он даже не знал, индеец это или белый, мужчина или женщина, стал удаляться в темноте, и тогда он, не думая ни о дороге, ни о направлении, ни о собственном теле, ибо был совершенно уверен во всем этом, бросился стремглав, петляя зайцем, назад, в деревню, к дому с высокой крышей, где те двое стояли у окна и продолжали так стоять, не оборачиваясь, как будто даже не заметили, что его не было, или и в самом деле уже так забыли его, что ему нужно было бы подуть на них. С плеч индианки на него смотрели два стеклянных лисьих глаза.

Все обошлось без слов, последнее движение рук гладкой женщины, притягивающее, а потом, со смехом, отталкивающее, и удивленный взгляд, скользнувший напоследок, при этом казалось, будто все ее лицо вдруг увеличилось, хотя и оставалось все время неподвижным; затем искреннее объятие друга, стоявшего рядом с ней в ожидании своей очереди прощаться, и, наконец, перемещение в соседнюю комнату, и ночь, ставшая вдруг (правда, ненадолго) прон-

¹ Топить нечем (англ.).

² Желаю скорее добраться до дома (англ.).

зительно холодной, и погружение в сон с ощущением лежащей на тебе ответственности («почтовый самолет» и т. д.).

Зоргер все время поджидал во сне кого-то, кто не пришел. В какой-то момент он проснулся и увидел сидевшую в углу комнаты кошку: «мелкое монументальное животное». Обратившись к ней спокойным голосом, он позвал ее, и она приблизилась, подсунула голову ему под самый подбородок: она хотела жить, а он хотел быть забытым своими друзьями и угробить себя? Машинально он стал называть кошку «девочка моя», и он любил ее (и руки его стали сильными от любви), и звал ее, как настоящую возлюбленную, по цвету «ты, черно-белая!».

Во сне Зоргер превратился в карту мира, а под утро проснулся кучкой земли, внутри которой были одни сплошные камни. В предрассветных сумерках Лауффер лежал в постели, которая в мыслях представлялась пустой, сердитая гримаса с закрытыми глазами. С чемоданом – мимо кошки, смотревшей отсутствующим взглядом и делавшей вид, будто они не знакомы. Много из своих вещей он оставил в доме. «Пора убираться».

Из окна почтового самолета, где он сидел в самом хвосте в компании с индейцами, которые, не успев сесть, уже дремали, Зоргер увидел в лучах восходящего солнца, как сверкнула в бескрайнем хвойном лесу одна-единственная весело-желтая березка, и он подумал об индианке (там внизу есть одна милая женщина), а потом выпрямился от неясного любопытства, перешедшего затем в чувство голода, ему хотелось не чего-то осязаемого, а вообще – грядущего: в нем началось переживание «будущего», вне всяких образов, и, погруженный в эти безобразные, теплые фантазии, он увидел, как повернулся пилот, и прочитал по губам сказанные им слова: «Нам нужно возвращаться».

Причиной возвращения стала первая снежная буря этой зимы, на высокогорном плато за южной цепью гор, где находилось крупное поселение (прежде центр золотодобычи), откуда можно было лететь на реактивном самолете. Уже когда пилот стал делать петлю разворота, ландшафт внизу скривился: круг заболоченного озера застыл в гипнотическом сне, извилистые речушки затянулись толстым слоем ряски, сквозь которую то тут, то там еще проглядывала вода, а длинные канавки на склонах холмов, образовавшиеся от весеннего таяния снегов и прежде имевшие вид прямых дорожек, прорытых в каменистой почве, теперь разбегались во все стороны. Самолет сможет лететь только на следующее утро.

После приземления Зоргер вышел и остановился на краю летного поля. Он торчал там со своим чемоданом, как отражение в павильоне кривых зеркал, коротенькие ножки и длинная-предлинная шея, заезжающая на самые уши. В его отсутствие, которое продолжалось не дольше чем один круг в воздухе, деревня, казалось, вся превратилась в некое «предприятие», куда посторонним вход закрыт. Он сел на чемодан и, увидев себя глазами деревни, рассмеялся над самим собою, Зоргером. В такую нереальность он еще никогда не возвращался. Как бы сделать так, чтобы ни с кем не встретиться? Он встал, пожал плечами, пошел, пожал плечами, сменил направление, пожал плечами. Но никакие уловки больше не помогали: неестественные краски голых фасадов, расколдованная вода обманной реки, и, как реакция на всю эту фальшивость, такую неприглядную и неприкрытую, на том месте, где было лицо, образовалась кривая ухмылка обманутого глупца.

И в этом своем неведении – куда-пойти-податься – он был опасен, не как человек, готовый к нападению, а как жертва, отдающая себя на заклятие.

Прямо перед неуверенно бредущим Зоргером по узенькой дорожке шел какой-то человек без возраста, и двигался он так же медленно, как Зоргер; он явно ни о чем не думал, но и не смотрел по сторонам, вот отчего его медленная походка стала постепенно казаться даже неприятной. Он не оглядывался, только по временам слегка поворачивался в профиль, но глаз было не видно – так смотрят иногда собаки, пробегая мимо. Наконец он посторонился, выта-

щил из кармана цепь, которая другим концом была намотана на запястье, и, размахивая тяжелой штукой в воздухе, вплотную подошел ко «мне!».

У этого человека без возраста не было и расы. Светлые глаза, без центра, где можно было бы попытаться поискать взгляд. Нетвердо стоя на слегка подкашивающихся ногах, он все время кривил губы, но не улыбался. Но когда он («правда!») замахнулся цепью, у них обоих больше не было лица, весь мир исказился в тот миг и стал трагикомически безлицым.

– Дорогой брат. – Пьяный, саданув с размаху цепью по чемодану, который тут же лопнул, рухнул без чувств сверху.

Зоргер отвалил тело в сторону и, подхватив свои вещи, припустил прямехонько к дому с высокой крышей, сиявшему ему навстречу земной красотой; он был теперь в такой ярости и так ненавидел всех людей, что все свои движения осуществлял только по прямой. Дверь была заперта, и он уселся прямо на ступеньки деревянного крыльца. Упавший лист коснулся его затылка, как будто кто-то тронул его лапой, но кошка была внутри, бродила по опустевшим комнатам, время от времени по забывчивости демонстрируя готовность поиграть, но больше занятая своими собственными ощущениями, которые помогали коротать ей время; мужчина на крыльце меж тем совершенно упал духом от вынужденного безделья, а тут еще этот коврик для ног, напоминающий напольную решетку в душевой кабине, и как в насмешку выкатившийся мяч, на которых ему хотелось сорвать всю злость.

Вот так и это неожиданное нападение, оно не столько задело его, сколько обидело; это было не действие, направленное против него, а неуважение по отношению к его личности и к его вещам – как будто чей-то голос во всеуслышание заявил: «Ты и твои фотографии. Ты и твои рисунки. Ты и твое „исследование“». Только теперь Зоргер собрался нанести ответный удар, который повис в воздухе. И не стало больше Крайнего Севера, ничего, кроме погоды, холодной и серой, какой она испокон веку была для праздноболтающегося, что, заглядывая в пространство под хижинами, видел вместо «спокойных мелких форм земли Лауффера» только проржавелый хлам; а в это время его собственная работа, секрет которой, как он думал, был известен только одному ему, выполнялась кем-то совершенно посторонним, так, мимоходом, среди сотни прочих механических движений. Когда существо замахнулось цепью, Зоргер на какое-то мгновение умер, теперь он снова ожил, но бесформенность все продолжалась: каждое мгновение разрасталось до громады и внутри нее уже пульсировала следующая бесформенная точка – и, как бывает, когда накатывает нестерпимая боль, он сам себе казался точкой, крошечной и безграничной: и в этой точке была невыносимая тяжесть, а в этой громаде – невыносимая невесомость. Индианка снова стала «другой расой» и теперь, при всех еще возможных интерлюдиях, не могла больше желать ничего, кроме его уничтожения.

– А то, что ты, Лауффер, обманываешь других, – заговорил Зоргер, почувствовав в своей бесформенности желание поругаться, – это происходит оттого, что тебя их общество, каким бы оно ни было, вгоняет в уныние – но вместе с тем тебе не хочется никому показывать себя: потому что ты сам, хотя и милый, добрый, сочувствующий любой твари, но все же в конечном счете унылый мужик.

Разошедшийся оратор вдруг осознал наконец, что сам он являет собою бесформенное уродливое существо, имеющее слишком маленькую прорезь для дыхания, он огляделся и увидел водную поверхность, которая как будто наблюдала за ним. Слишком уж спокойной была эта плоская земля – и Зоргер настроился на взрыв; у него возникла настоящая потребность увидеть образование гор или хотя бы камень, сорвавшийся с вершины. Он вскочил и запустил мячом в стену дома, так сильно, что тот, отскочив, со свистом пролетел мимо его уха; он продолжал играть, не переводя дыхания, пока щебенка вокруг него не засияла, как цветы, и ему стало не по себе оттого, что он играет сам с собою.

Прервав игру, он заметил низкие, сходявшие ступеньками на нет облака над водою. Они были бледными и снизу не прямыми, как обычно, а закругленными, они застыли в неподвиж-

ности. Из глубины ландшафта налетел порыв ветра, и в одну минуту из облаков посыпал густой снег, на горизонте он крутился темной стаей, напоминавшей тучу саранчи, и этот снег валил не из всех облаков сразу, а с интервалами, из каждого по очереди, – самостоятельные тела, которые отделялись от тела облаков и обрушивались вниз, как череда лавин, пока на переднем крае не грянула с сухим треском последняя, белая волна, короткая, но мощная, закрыв собою и дом, и человека, стоявшего перед ним, хотя над всей территорией, примыкающей к реке, не было видно больше ни одной-единственной снежинки.

И сразу после этого, при абсолютном безветрии, под сенью монотонно-серого неба, начался густой, ровный, медленный снегопад, который щекотал губы и превратил пространство вокруг дома в своеобразный двор. Светлая радость! Милый пот! Человек, который еще недавно не мог дышать, вырвался на свободу, наслаждаясь вновь обретенным воздухом, и, превратившись в комок жизни, сделал несколько кругов вокруг дома, а потом закричал, как во времена благословенного детства. Вскоре пришел и дорогой коллега (он был виден еще изда-лека, среди кустарников), немало удивился, и так, в такой вот обстановке новой, печальной, совершенной в своей форме любезности и пролетели часы до следующего дня, когда Валентин Зоргер, уже с другим чемоданом, покинул безымянный, уже по-зимнему сумрачный уголок земли (внутри которого, однако, отчетливо различались две пары глаз, Лауффера и индианки) и полетел обратно в мир имен. В университетском городке на западном побережье континента, где он в основном и жил с некоторых пор, существовала широкая улица, по обеим сторонам которой тянулись сплошные бензозаправки и супермаркеты, и называлась та улица «Northern Light Boulevard».

2. Пространство запрещается

Дом Зоргера располагался вместе с другими небольшими строениями в сосновом лесу, на узкой прибрежной полосе Тихого океана. Между океаном и домами уже не было никаких улиц, только кусты и низкие, поросшие травой дюны. Дороги, прорезавшие лес, спускались к океану под прямым углом и обрывались перед дюнами, образуя тупик; оттуда казалось, что все дома находятся глубоко в лесу, каждый со своей подъездной дорожкой, петляющей среди деревьев. Почва была песчаной, на ней, помимо небольших темно-коричневых сосен, произрастала по-степному высокая ярко-желтая трава, которая тянулась сплошной полосой вдоль пляжа. Отдельные песчаные языки, загнанные ветром, так далеко забрались в лес, что в некоторых местах образовались новые светлые песчаные валы, на которых завелась новая трава, тогда как от деревьев, державшихся еще корнями за старый грунт, нередко видны были только сухие ветки, торчавшие из-под земли; благодаря растительности, однако, все эти дюны со временем уgomонились и, являя собою единственные возвышения в этой местности, превратились в излюбленное место детских игр наравне с лесною степью с ее густой, высокой травой, которую невозможно было скосить, потому что повсюду стояли деревья. Дома, при том что каждый из них находился, по крайней мере, в пределах видимости соседей, из-за окружавшего их со всех сторон леса производили впечатление хижин отшельников; все они были отделаны светлой грубой штукатуркой, под которой, однако, если постучать, обнаруживалось дерево, которое использовалось тут из-за возможных землетрясений; прилегающий несколько более высокий участок побережья лет десять назад во время одного сильного землетрясения весь целиком, вместе со всеми каменными виллами, оказался под водой, и теперь на этом месте, где виднелись ступеньки от террас и части стен с поперечными трещинами, из которых буйно пробивалась новая растительность, образовался никем не заселенный «парк землетрясения».

В самолете небо еще долго оставалось большим. Находясь все еще под впечатлением приятного чувства от дружбы с теми, кто остался там, внизу, Зоргер, размягченный, увидел

себя будто впечатанным в треугольник под двускатной крышей их арктического дома и принялся, как только самолет взлетел, беззвучно сам себе рассказывать:

– Этим летом и осенью я был на Крайнем Севере.

На западном побережье была уже другая временная зона (на два часа назад), и, когда он прибыл, было уже темно. Вот только совсем еще недавно он смотрел, как перекачивается мутный ил в покинутой теперь реке, совсем недавно еще он был в пути в обществе многих других, которые находились на борту большого лайнера не в качестве обычных путешественников, а, как и он, подбирались где-то разными самолетами и снова высаживались; еще совсем недавно, когда самолет пошел на посадку и с высоты заснеженной цепи гор, минуя область, где холмы отчетливыми ступеньками сходили вниз, взял курс на побережье, переливавшееся от каналов, он видел, как заходит солнце в океанском мареве, – и вот он уже шагает по искусственному полу аэропорта мимо повернутых изнанкой камер, образующих единое целое с одинаковыми стульями и зрителями, сидевшими скрючившись в этих яйцевидных формах; и хотя он жил здесь уже давно, только теперь, вернувшись в очередной раз в эти «нижние регионы» (так поселенцы Севера называют все остальные области страны), он обнаружил здесь, на континенте, живущем якобы по законам самоуправления, отчетливые признаки государства, а ярко освещенное здание аэропорта представилось ему (хотя здесь не видно было ни одного солдата) военной зоной.

Как-то само собою у него вышло два произвольных взгляда: один раз он принялся отыскивать, хотя никто не мог знать о его приезде, в толпе встречающих «знакомое лицо», другой – когда он стал высматривать мужчину в слишком коротких брюках и в белых жесткокожаных башмаках, который утром вместе с ним сел в почтовый самолет, а потом оказывался вместе с ним в каждой следующей машине; не сказав друг другу ни слова, они все же раз-другой молча повеселились вместе, и Зоргеру понравилась мысль, что вот отныне они оба – всегда случайно, до конца своих дней, и при этом всегда молча – будут идти одним путем; он нарочито медленно продвигался к выходу, чтобы дать возможность (неважно кому) увидеть его и, быть может, догнать.

Он отпустил такси перед самым поселком и проделал последнюю часть пути пешком, местами попадая на освещенные участки, куда падал свет из окон, пробивавшийся из-за деревьев на дорогу, которая обыкновенно была темной; дома в лесу казались тихими и вместе с тем, из-за горевших повсюду огней, торжественными. Он шел по непривычному асфальту, слившись с представлением о себе как о фигуре, излучающей анонимность, в толпе свободных, как и он, от всякого происхождения космополитов, кишящих и снующих между уровнями прибытия и отправления, и, поскольку для него, прибывшего из другой временной зоны, ночь еще не настала (а также потому, что те несколько часов полета он провел по большей части среди яркого света над облаками), он еще чувствовал в глазах дневной свет и шурился в темноту, как будто она была искусственной.

Он забрал почту у соседей, оставил уже спящим детям у кроватей привезенные игрушечные санки и удалился, облаянный на улице собаками, под впечатлением от увиденного мимоходом странно безликого облика прибывающей луны, которая светила тут и еще несколько часов назад (в предрассветных сумерках) там, над другой, такой далекой частью земли, – в свое жилище, оборудованное, как везде, под рабочее место, читать полученные письма.

Писем было много и много новостей, по большей части все любезные или деловые, без угроз и враждебных выпадов. Некоторые, думая о нем, мысленно представляли себе ландашфты. Им хотелось иметь его, «забравшегося так далеко», поближе.

Все шторы в доме были наглухо задернуты. Он сидел в пальто, которое все еще оставалось не расстегнутым. В высоком поместительном шкафу со стеклами лежали кучи камней, как будто они только что прямо из недр природы высыпались прямо в комнату и так и остались лежать за стеклянными дверцами. Синеватая неоновая лампа в шкафу освещала каменные

обломки и тихонько жужжала (это был единственный шум). На сиденье стула остались лежать подушки от того, кто сидел здесь несколько месяцев назад. В темной соседней комнате, дверь в которую была отворена, обозначился силуэт гидрантообразной спинки кровати, на которой на мгновение застыла кошка, наострив уши.

Письма вместе с пустыми конвертами были свалены теперь на стеклянном столе, освещенном снизу, в беспорядочную, просвечивающую светлую кучу, некоторые из них стояли торчком, как части карточного домика, нацеленные своими блестящими краями и разодранными лохмотьями конвертов на получателя, который перестал быть умиротворенно-спокойным, но просто сидел, не производя никакого шума; теперь они перестали быть осязаемыми предметами, они были последним из окружающей его обстановки, что он еще мог назвать, а так – здесь больше не было ничего, кроме штор, которые не спадали мягкими складками, а жестко пузырились против него.

Разве когда он открывал дверь в дом или даже уже тогда, когда он свернул с дороги, не перестало дуть? Не прошло и мгновения, как дышащий покой обратился в застылость. Только что кто-то сидел прямо, и вот он уже свалился, но при этом не растянулся, как это бывает у падающих. «Тот кто-то» сидел без движения, и плоскость упавшего взрезала его.

Зоргер, не чувствуя кровотечения, но только жар, увидел себя в эту ночь возвращения в западный мир исторгнутым из чрева на безвоздушную планету (один сплошной карст и гротескная пустота) тяжелым камнем, который не падает, он был не один на свете, но один без света, а внутри него – безвременье – застыли звезды и спираль неба, как глаза, которые не смотрели на него. Не только язык оставил его, но и всякая способность к звуку, к внутренней немоте добавилась беззвучность наружная. Ни звука, даже кости не трещат. Только силою воображения ему удастся повернуться к скале и, приняв образ камня, забраться в камень; в реальности же дрожь пробивала плоть.

– Куда, в какое место рождения унести мне, подхваченному вихрями сильного ветра?

Вот так явился образ, в котором Зоргеру открылась причина его застылости: он сидел далеко-далеко, в задних низких пустых «залах континента» и в «ночь века», будучи одним из тех, кто присутствовал при этом, собираясь по крайней мере оплакать себя и себе подобных вместе с проклятым веком, но ему было отказано в этом, потому что «он сам виноват во всем». Да, он даже не был «жертвой» и потому не мог собраться вместе с другими жертвами этого века на Великую Жалобу, чтобы в упоении совместного страдания вновь обрести голос. Он, превратившийся в «сидящую фигуру неизвестного», был, наверное, слабым, но он был потомком преступников и сам себя считал преступником, а тех, кто в этом веке совершал преступления против народов, – своими прямыми предками.

Окруженный задернутыми шторами, перед лицом угрозы, исходившей от кучи писем, как от вражеского гербового щита, Зоргер заметил в этот час, что он, и пальцем не пошевелив, превратился в олицетворение праотцов, навязанных ему: его отсутствующая застылость повторяла застылость насильников-уродов; и он походил на них не только внешне, он был с ними во всем согласен и един, настолько един, насколько они сами никогда не были едины с собою. Без судьбы, без связей, без права на страдание, без силы любить (письма означали всего лишь подчинение) ему оставалось только хранить верность: вечно преданная копия мастеров культа смерти. Он чуял войну, он был взят в окружение ею, когда был еще в своей хижине.

После того как он насмотрелся на причину, он получил назад свой язык и готов был тогда сам себя возненавидеть, потому что оказался одержим нежитью, словно он «был им родственник». От ненависти его дыхание стало глубже; он выдохнул себя из зияющего могильного холода. «У меня больше нет отца». Он закрыл глаза и увидел под веками светлый отпечаток потока. Его язык был «игрой», в которой он снова стал «подвижным»; он встал, разделся и помылся; под водою он пел злую песню, которая вне воды закончилась хорошо; потом он раздвинул все шторы.

Язык, миротворец: он действовал как идеальный юмор, который одухотворял наблюдателя внешними вещами. Меж деревьев пробежал выюном ветер, в котором вместе с листвою и бумажками кружилась целая газета. В полете она по всем правилам даже открывалась и закрывалась; в сложенном виде она устремлялась в темноте поочередно к каждому окошку, но за секунду до столкновения разворачивалась и, сбавив скорость, улетаала, попутно расправляя крылья («для меня»). На заднем плане раскачивалась трава, напоминая поле ржи, и слышно было океан, как шум с далекого школьного двора. Зоргер смог на мгновение вспомнить своего ребенка в Европе, потом он закрыл снова дверь и поклялся никогда больше не запирается на все засовы.

Наконец он улегся спать (до того постель была далеким недостижимым объектом), и вместе с желтизной серных минералов в шкафу с камнями исчезла за закрытыми глазами последняя светлость. Он вдруг подумал, что теперь лежит на север (в доме с высокой крышей он ложился головою на юг).

Конечно, он понес утрату, но очевидный факт «неискупаемости» свелся к смутному ощущению потерь; и он не забыл, что застылость оставила в его памяти неизгладимый след как неотвратимое предназначение, как его истинное состояние, рядом с которым все остальное (говорение, движение) отошло на второй план, став никому не нужной, нереальной суетой.

Внизу, на берегу, возник, в виде редута, уходящего к океану, длинный вал, прежде намытый здесь прибоем, образовавшийся из обломков прибрежных скал, вынесенных сюда доисторическими волнами: на этот риф («Land's End») и опустился в течение ночи, медленно вращаясь вокруг собственной оси, дом деревянным ковчегом.

Зоргер был приглашен на завтрак в соседний дом и оттуда мог созерцать ловушку прошедшей ночи, представшую при свете утра в виде стариковской хижины, оставленной ему в надел.

Ветка от сосны повисла, упираясь в стену дома, а в высокой траве, которая за время его отсутствия подобралась под самую входную дверь, стояла, с физиономией странного человека, собака, как будто без ног, внимательно следившая за чайками, на всех парусах носившимися между деревьями. Зоргер сидел вместе с соседской семьей на полукруглой, залитой солнцем веранде, примыкавшей к гостиной, и твердо знал, что в ближайшее время ничто не выведет его из равновесия; он был готов ко всему, способный совершать вещи, совершать которые ему хотелось быть способным. Без особого напряжения он переключил свой взгляд, который привык в глуши к большим расстояниям, на семейство, расположившееся справа и слева от него; только теперь по-настоящему вернувшись, он включился в жизнь соседей как авторитетный, от всего пережитого несколько усталый знаток земли, при том что именно эта легкая усталость и придавала ему живой вид.

Он не был, как обычно в обществе, рассеянным в разных ускользающих картинах, скорее он воплощал собою одну сплошную всеобъемлющую фантазию, посредством которой он поддерживал для себя присутствие окружающих, вовлекая их в себя. Весь внимание, Зоргер (обычно такой сдержанный во всем) погрузился в удовольствия; и радость от застолья («и вообще») исполнила его воинственности, не имевшей никакой особой цели: отныне до самого конца жизни, маячившего где-то далеко, он хотел только наслаждаться. При этом у него все время было приятное чувство собственного лица, в первую очередь глаз и губ, а деньги, лежавшие в кармане брюк и по временам шуршавшие, сообщали ему совсем другое чувство, которое отныне тоже относилось сюда.

– Наш сосед, – сказала хозяйка дома, разглядывавшая его сидя, с руками, сложенными на коленях, – выглядит сегодня очень хорошо (на что ее муж сказал: «как счастливый человек, у которого есть судьба», и дети наморщили лбы и ринулись из дома играть в прятки с собаками в высокой траве).

И действительно, в это утро, после его застылой ночи, Зоргер казался гораздо более приметным, чем обычно, когда его в толпе прохожих нередко принимали за водителя автобуса, электрика, маляра. Его тело как будто раздалось, лицо – спокойно и с каждым новым взглядом становилось еще спокойнее, как бывает только у исполнителя главной роли (память о прошедшей ночи хранила ощущение провалившегося представления), запавшие глаза с налетом всезнания, вот таким он нынче являл себя.

– Да, сегодня моя сила исходит только из меня, – сказал он.

Семья была родом из Центральной Европы, как и Зоргер; так же как и он, они уже много лет жили на западном побережье другого континента; муж и жена составляли в глазах Зоргера пару, глядя на которую действительно можно было поверить, что они любят друг друга. А вот их дети были скорее случайны, они скорее были свидетелями союза, чем настоящими членами семьи; они просто оказывались случайно рядом и с удивлением наблюдали за играми взрослых.

Первое впечатление Зоргера от этих людей было: «два безобидных человека». Они, конечно, были безобидны, но это, как выяснилось позже, было проявлением их доброты: она перенеслась со временем на менее безобидного другого, который в их обществе мог тоже не испытывать обычной злости. Глядя на них, можно было себе представить, что они действительно вначале бросились друг к другу, как две половинки, попавшие в беду. Со стороны они казались нередко ограниченными и в своей отсталости даже безобразными; но они занимали силу воображения, делали ее вообще возможной и вырастали в ней до идеала, – пожалуй, никто другой не пробуждал в Зоргере такой мирной фантазии (все остальные включались в обычные фантазии): и о них, бывших прекрасным представлением, в конце концов можно было думать только хорошее.

Муж происходил из богатых, но все же был не в состоянии демонстрировать семейные повадки (хотя бы в антижестах). Он был, наверное, послушным, но беспомощным. Послушным и беспомощным он был во многом, тем неожиданнее было, когда он вдруг случайно принимался «колдовать», и пусть это был всего лишь взгляд или одно-единственное слово. Его жена была «из деревни»; и поначалу она казалась только типичной деревенской бабой из тех расхуторенных краев вокруг бывших деревень, где человеку, до конца дней своих привязанному к законному существованию, ничего больше не остается, кроме беспощадно злобных взглядов на чужаков, праздно болтающихся снаружи. Но вскоре стало невозможно смотреть на нее только так: «мелочной» или «со злым взглядом» она бывала только в ожесточенном состоянии, а ожесточалась она только тогда, когда другой человек скрывал от нее свою натуру. Зоргер, правда, частенько видел ее «за окном», но неизменно в качестве «лица сочувствующего»: она была тем, кто, обладая терпеливой любовью ко всякому живому созданию, поспешит избавиться, однако, от всякого, в ком она не обнаружит более ничего живого. Ее взгляд на другого (с годами Зоргер понял это) был при этом не злым, а разочарованным и обиженным: вот опять в очередной раз ее оттолкнул от себя тот, кто мнит себя властелином творения. Только на своего мужа, которого она, впрочем, порицала, она смотрела с неизбывным патетическим состраданием, и по временам Зоргер и на себе ловил такой же взгляд (только несколько более вежливый, не такой откровенный и оттого более действенный).

Незаметная, неловкая и медлительная во всем – даже когда все остальные рассеянно ждали ее, – она застывала на одной точке, погруженная в совместное начало, – из них двоих именно она являла собою образец для подражания, а ее муж только через нее мог быть определен как отдельно взятый человек. Он, случайный, часто безличный (и вызывающий, наверное, от этого у самого себя досаду), был однажды открыт ею, которая была неизмеримо больше, и по сей день, в ее отсутствие способный только повторять чужие слова или стоять безвольно рядом, он вдохновлялся только ее присутствием, обретая тогда своеобразие. Его жена не льстила ему, но могла, сама переполняясь гордостью, восхищаться им, притом так убежденно, что он сам оставил всякое внутреннее сопротивление и, тронутый, верил ей как человеку «одного с ним

роду-племени». Он ее тоже трогал, но только по одной-единственной причине, заключавшейся в том, что она и этот человек и в самом деле однажды были объявлены «мужем и женой». Брак был для ее личности, которая как будто была свободна от давления всех расхожих мнений, приписывающих особое значение тому или другому, все еще таинством, в котором «рассеянные чувства», «собранные и соединенные», властно выталкивали чувство сострадания к другому вовне и превращали его в неисчерпаемую форму жизни. Ее образцовопоказательность для Зоргера, однако, проявлялась в том, что «другой» являлся ей не только в виде супруга (который при этом тем не менее оставался для нее мужчиной ее жизни), он являлся ей в каждом, даже в чужаке: брак стал для нее формой, которая помогла сохранить ей детскую открытость и одновременно воплощала это ее свойство в естественном коллективизме, совершенно отличном от того, какой бывает по обязанности у просто взрослого человека. (Зоргер довольно часто видел, как она сидит без дела; ей нравилось, когда ее обслуживали, а дети попросту называли ее «лентяйкой».)

Эта пара не оставляла давящего чувства. Не было никаких признаков, что они когда-нибудь испытывали страх друг за друга. Было даже невозможно себе представить, что они когда-нибудь умрут. А может быть, вообще для Зоргера они значили больше, чем простое практическое удобство от соседства? (Муж иногда брал его с собою в город, а жена, бывало, не раз незаметно брала на себя выполнение каких-то мелочей по хозяйству, которыми Зоргер как раз хотел заняться.) Их отношения завязались на почве соседства и так развивались себе дальше без особых скачков. Они так никогда и не сблизились по-настоящему: ни разу не было такого, чтобы один стал рассказывать другому, каким он его видел раньше, в начале их знакомства. Зоргер даже толком не знал, чем занимается муж; он знал только, что есть «контора» в «центре города». Они были только «соседями», и ничем другим, и все же в глубине души Зоргер считал их своими; его мысли о них нередко заканчивались как письма – пожеланием всего хорошего, и он не хотел потерять это знакомство.

Зоргером уже было написано несколько исследований; как правило, это было общее описание некоей ограниченной области или сравнительный анализ наблюдений за сходными явлениями в разных частях земли. Принимаясь за опыт описания пространства, он неизбежно вынужден будет отказаться от установленных правил своей науки; единственное, в чем они могут ему быть иногда полезны, так это в том, чтобы структурировать его фантазию.

Надо сказать, его давно уже занимало то, что, судя по всему, сознание со временем в любом ландшафте начинает производить свои собственные небольшие пространства, даже там, где как будто бы до самого горизонта нет ни одной возможности отграничения. Это выглядело так, словно на поверхности, которая новичку представлялась еще бесконечной, перед давно живущим там выступали многообразные и четко отделенные друг от друга пространства. Но, даже находясь в холмистой или горной местности, которая на первый взгляд, совершенно очевидно, кажется расчлененной, человек (как показывал опыт Зоргера) со временем все же начал представлять себе совершенно иные пространства, чем те, которые возникали из монументальных и однозначных экземпляров форм.

Это и было исходным положением его рассуждений: он полагал, что сознанию, бывает, в любой части земли, если только у него есть время соединиться с нею, открываются свои собственные пространства и что, главное, эти пространства создаются не теми элементами, что прямо бросаются в глаза, образуя ландшафтные доминанты, а совершенно неприметными деталями, которые не могут быть восприняты никаким научным взглядом (которые в действительности можно узнать, только если просто пожить там какое-то время, которое тогда, среди этой природы, кажущейся теперь как будто обжитой, проходит как время жизни, – быть может, только благодаря постоянному спотыканию на одном и том же участке земли, непроизвольно меняющейся походке на том месте луга, которое когда-то было болотистым и пружинящим,

меняющемуся уровню шумов в ложбине, ставшей вдруг совсем другой перспективе, открывающейся с бывшей еще недавно такой крошечной макушки морены среди ржи).

Исследовательский пыл Зоргера подогревался тем, что эти места были не просто фантазиями одного человека, но имели сохранившееся в источниках название: открываемые, правда, всякий раз заново отдельными людьми, они оказывались, однако, местному большинству уже давно известными; были занесены в кадастры и поземельные книги под нередко древними названиями. Какие из этих неприметных ландшафтных форм могли стать такими самостоятельными областями («луга» и «равнины»), опознаваемыми в повседневной жизни как самой захолустной деревни, так и большого города? Какие цвета там соединялись и какие материалы – каковы особенности? Здесь Зоргер еще вполне мог воспользоваться старыми добрыми методами: но все прочее (его побудительный мотив, как и его мечта иметь возможность ограничиться чистым изображением этих форм, без объяснений), – все это было, так сказать, географией детства.

Собственно, сначала Зоргер так и хотел сделать: описать полевые формы детства (его детства); начертить планы совсем других «интересных точек»; дать в продольном и поперечном разрезе все эти, поначалу такие непроницаемые, но пробуждающие в памяти чувство родного дома, знаки лугов детства – не для детей, а для себя самого. В свой свободный год, который начинался у него через несколько недель, он собирался, среди прочего, обмерить по всей Европе такие места, и в первую очередь те области, где он сам лично столкнулся с ними. При этом он, конечно, прекрасно знал, что подобная «игра» (неважно, как все это называется) никакой пользы никогда не принесет, но все равно он часто мечтал об этом, радовался или падал духом, как будто от этого зависело все. И когда он радовался, он чувствовал в себе новую храбрость, почти неуязвимость. Он был готов совершить прыжок, быть может в никуда, но главное – вперед.

Он никогда не ощущал себя ученым; в лучшем случае (иногда) добросовестным описателем ландшафтов. Будучи таковым, он мог позволить себе впасть в возбуждение, чувствуя всякий раз себя изобретателем ландшафта, – изобретатель же не может быть злым или самозабвенно добрым, он может быть, собственно говоря, только идеальным человеком; при этом он, наверное, думал, что делает добро – не потому, что он дарит что-то другим людям, а потому, что он никому не выдает своей тайны: но его невыдавание не было бездействием, скорее – энергичным действием. Порою он чувствовал себя во время изучения ландшафта исследователем мирной жизни мира.

«Вдохнуть жизнь в мир». Сразу же в день приезда, со складным стулом под мышкой, в лучах послеполуденного солнца, он шел по берегу в направлении бухты «парка землетрясения» (по ходу дела наблюдая за городом у моря), дойдя до места, он уселся на небольшое возвышение, чтобы зарисовать профиль ландшафта.

Парк был никак не обустроен, речь шла просто о территории, которая оторвалась во время катастрофы и сползла к морю и которую потом уже объявили парком. На первый взгляд здесь не было ничего особо примечательного: довольно большая площадь спускалась под легким углом к воде, а вместо обычных для здешних мест хвойных деревьев здесь пробивались кое-где чахлые кустики травы; никаких обломков от домов, никаких деталей от машин не торчало здесь из уже снова затвердевшего грунта. Этот грунт образовывал глинистый пупырчатый ландшафт, голой полосой тянувшийся до самых кустов, а по нему шла сеточка дорожек, вытоптанных многочисленными отдыхающими, при этом на месте бывших трещин в земле теперь возникли миниатюрные долины, которые, в некоторых случаях имея вид узких ущелий, змейками вились между пупырышками: Зоргеру казалось, будто все эти гуляющие всякий раз попадали сюда прямо с улиц неведомого земляного города, а потом снова исчезали за невиди-

мой городской чертой; но еще долго были слышны их голоса за дюнами, как это обыкновенно бывает только среди европейских ландшафтов.

За рисованием ему стало жарко, и вода в бухте на заднем плане придвинулась ближе. Ничто не отвлекало его, он никуда не спешил. Нарисованное начало постепенно отзываться на его взгляд. Будучи сам невыразительным, он ждал появления в ландшафте «образа»: «только погрузившись, я вижу, что являет собою мир».

Он зарисовал один участок земли, который вывернуло наизнанку: тонкие волоски корней бывших деревьев еще торчали среди свежей травы, как выглядывают, бывает, разные обломки из лавины, подхваченные ею по пути. Вывороченный фрагмент был небольшим, но все слои земли в нем очень четко разъехались в разные стороны, – даже по тем микроскопическим изменениям в направлении, зафиксированным в рисунке, можно было представить силу происшедшей катастрофы.

Рисовальщик нащупал что-то, и его штрихи, ложившиеся сначала плотно один к другому, почти что педантически, постепенно стали расплзаться и добивались теперь только одного – события. Взмороженный, он заметил, как бесформенная глиняная куча преобразилась и превратилась в рожу; и он понял, что уже видел ее раньше: в доме индианки, в виде деревянной маски, которая якобы представляла «землетрясение».

Лоб этой рожи был обрамлен светлыми перьями, которые он обнаружил здесь среди травы. На месте глаз торчали, наподобие соседних корней, круглые деревянные колобашки; а ноздри тоже выпирали наружу, только они были из щепочек. Зоргер, правда, обнаружил маску не непосредственно в природе, а сначала в своем рисунке, сделанном с нее; хотя в действительности это не было обнаружением той особой маски – скорее, это было моментальное, резкое осознание существования масок как таковых; и это резкое движение сразу повлекло за собою возникновение представления о танцевальных шагах: в одно мгновение Зоргер пережил одновременно землетрясение и человеческий танец землетрясения.

«Связь возможна», – написал он под рисунком. «Каждое отдельное мгновение моей жизни соединяется с каждым другим – без вспомогательных сочленений. Существует непосредственное соединение: мне только нужно его дофантазировать».

Вот так возникли на закате две женщины, которым на бедра падал свет, они явились в проходе между холмами, такие роскошные и независимые, что рисовальщик, потеряв голову, не выдержал и закричал им:

– Вы не кинозвезды?

На что они ответили:

– А ты не офицер? – и тут же, сделав несколько шагов из «долинной части», которая так обманчиво казалась далекой, поднялись к нему на возвышение.

Зоргер знал: если бы он теперь всерьез захотел этих женщин, они бы стали его. Здесь все стало возможным: уже одно то первое касание, мимоходом, когда они просто так стояли рядом, прошло сквозь ткань и кожу, и вот они уже сцепились все втроем, он же при этом – не как «соблазнитель», а просто готовый откликнуться на их призыв, поджидавших кого-нибудь вроде него.

Продолжая рисовать дальше, Зоргер еще попытался защититься от своей внезапной силы, но обе дамы не дали ему сказать: «Не порти себе удовольствие». Прелестная безответственность, с какой эти искательницы приключений гуляли тут: их красота, однако, оправдывала все. Или, быть может, ему был известен другой закон?

Они даже были способны сохранять серьезность, и он изведal вместе с ними триумф совершенного присутствия духа. «Солнце зашло, и тень закрыла собою все улицы»: он не просил их идти за ним, они последовали сами.

Их безответственность не только была оправдана, она была прелестна. Холод их ногтей. Ясность чрева! Он видел себя раскинувшимся теплой ночью на континенте и смотрел на женщин, хлопотавших вокруг него, как на последний раз в необозримой перспективе.

После того как явления покинули его, он остался сидеть в темноте, глядя на дом, стоявший напротив. «Нет, вы были реальностью», – заверил он сам себя, выпил вино, оставшееся в трех бокалах, и пожелал себе дождя, который не замедлил брызнуть среди сосен.

Свет там напротив, в окошке детской комнаты, сложился в желтую палатку, в которой стояла черная игрушечная лошадка. Зоргер вышел и ступил в высокую траву, ему хотелось стать мокрым; но его тело было таким жарким, что дождь на нем тут же высыхал. Над морем повисла чернильная полоска на горизонте: там вздрагивали еще сомкнутые веки женщин, и крики их только теперь заполнили пустые пространства.

Город, центр которого расположился на берегу лимана, глубоко врезавшегося под прямым углом в материк (низкие жилые комплексы и заселенные леса на побережье океана были всего лишь его отрогами), будучи частью не локализуемого ныне города-планеты, существовал независимо от земли, которая являла собою доисторическое прошлое, оказавшееся за пределами видимости: в незапамятные времена там случилось нечто – счастливое стечение обстоятельств приводило к любовным объединениям, несчастливое к вспышкам войны, – то, что в этой части земли не пробуждало даже представления. (Бетонные укрепления крутых прибрежных берегов времен мировой войны превратились в непонятных каменных свидетелей общих доисторических времен.) Планета казалась машиной, которой не коснулись никакие коллизии; существовало, правда, нечто вроде счастья и нечто вроде опасности: но под счастьем понималась только чистая бесформенность, а под опасностью – возможность отпадения («только так»).

Главное же, что здесь, судя по всему, больше нечего было делать никому. Город незаметно был автоматизирован, как будто на веки вечные; и только в отдельных местах его еще немного подправляли. Он был вполне закончен, и дни и ночи сменяли друг друга, включаясь и выключаясь, без всяких сумерек старых призрачных времен; а из недр машины (вместо озабоченного гласа «народа»), не так уж важно, при помощи какого мелкого аппарата, подавался звучный, спасительный ответ, гарантированно удовлетворяющий любые запросы.

Под вечер местность, занимаемая городом, и примыкающие пустыри начинали постепенно затягиваться туманом, который шел, как правило, от моря и растворялся в лучах полуденного солнца следующего дня, которое пробиралось сквозь курящиеся облака, как машина, увеличивающаяся в размерах по мере приближения. День сразу становился жарким и отчаянно слепил, дома белы и небо сине, и никаких осенних красок толстых листьев, которые быстро срывались со своих деревьев и падали, как будто следуя идеальной траектории полета, и под этим «отсроченным солнцем» – так воспринимал его Зоргер – он передвигался в разных направлениях, не зная беспечности (ведь он на первом же углу мог снова отменить отсрочку), не ведая страха (потому что ведь речь не шла о сопротивлении какой-то неведомой чужой сверхсиле), но будучи при этом – и оттого ему самому вдруг стало от себя не по себе – все время решительно безответственным.

Он не бездельничал, но все же не мог сказать о себе, что он сейчас как раз работает: чтобы так сказать, ему не доставало того ежедневного напряжения, с которым он, такой обычно неуклюжий, должен был всегда сначала заново перевоплотиться в другого; заняв себя, он становился ловким, словно речь шла о какой-то первой попавшейся халтуре или о деле, которым занимаешься ради забавы.

Во время таких одиночных занятий ему никто не был нужен (соседи были только далекими звуками из леса), и никто (таково было его желание) не нуждался в нем. Он хорошо знал город, и все же каждый его поход заканчивался тем, что он сворачивал куда-нибудь, и получа-

лось, будто он заблудился: он «заблуждался» в церковь, на берег моря, в ночной бар. Правда, он прекрасно ориентировался и его чувство места никогда не изменяло ему, но он пускал его блуждать на все четыре стороны, вместо того чтобы, наоборот, как никогда, держать его в узде. Где бы он ни оказывался, он попадал сюда без предварительного решения, и часто он только потом уже соображал: «Так вот где я».

К двум сторонам света, которые с незапамятных времен имели для Зоргера особое значение, относились север и запад. Теперь же слова «Западное побережье» вместо того, чтобы обозначать необъятный континент, относились только к небольшой области, отделившейся от всех прочих: не к бесконечным просторам, а, подобно слову «Westend», только к определенному району города. Правда, и тут Зоргер встречал почву, разрезанную многоугольниками, прорисованными по сухому илу, как бывало на берегах северной реки (в паутине растрескавшегося во время землетрясения асфальта или в шелушащейся солнцезащитной пленке на некоторых витринах, где из разрывов складывались, как будто по заказу, свои узоры), но все же он не видел в этом ничего, кроме случайного, обманчивого сходства. Этот мир не был «старым», как речной ландшафт на Крайнем Севере (который на глазах продолжал стареть дальше, и наблюдатель вместе с ним), он был безмятежно юн и возвращал Зоргера в былые времена, погрузившись в которые он теперь снова почувствовал себя легкомысленным, закоренелым потребителем. «Кто здесь, в этом городе, всегда прав?» – непроизвольно вырвался у него вопрос.

В ту пору, когда он был на другом конце земли, особенно когда он забрался в самую глухомань, вместе с ощущением бескрайнего простора к нему нередко приходило приятное чувство оттого, что он был среди нации; прибрежный город, в отличие от этого, существовал сам по себе: в его повадках не проявлялось никаких особенностей, в его сумятице не было единства. Было время, давным-давно, когда и здесь местные жители даже в уличных шумах улавливали речь, которая как будто говорила за них за всех: «Погляди-ка, что мы все вместе можем сделать», во всяком случае, именно так можно было понять еще несколько десятилетий назад поезда, грохотавшие вдоль берега, – в то время как теперь, хотя весь город в ярком сиянии солнца как будто и говорил о своей готовности, вокруг, по всей излучине бухты, продолжавшей оставаться непроглядной, только глухо гудели сирены в тумане. Дома и автомобили, впрочем, старались изо всех сил показаться наблюдателю, сверкая, как сверкают только предметы роскоши, но ни один из этих предметов не уносил с собою взгляда, не нес его через города и веси или за море, к похожим людям, в мир. На Севере, правда, тоже расстояния до других точек земли выражались в цифрах, напоминавших сказки (в самом крошечном поселке имелся указательный столб, с целым лесом стрелок, на которых были написаны соответствующие расстояния в милях до всех мыслимых и немыслимых городов земли): и все же никогда еще Зоргер не чувствовал себя таким оторванным от всех и вся, как здесь и теперь. Спустя какое-то время в представлении Зоргера уже не рисовалось даже самолета, взлетающего над крышами или идущего на посадку; зато – в большом количестве бесконечно извивающиеся пестрые хвосты бумажных змеев где-то далеко за крышами.

И все же нередко, походя, он чувствовал, что его (неважно почему) участливого взгляда ждали. Тогда он, чтобы избавиться от наваждения, еще раз оборачивался, глядя в ту даль, которую он сам себе нередко только воображал, – ему хотелось предостеречь другого от того, чтобы тот вообще воспринимал его; но вместо этого он сидел один серьезным, собранным зрителем в темном стриптиз-баре, предаваясь без всякого желания фантазиям на фоне обнаженных тел,двигающихся с восхитительной размеренностью, и был всего лишь «мужчиной с бокалом вина»; или оказывался в числе других безымянных посетителей в порнокино, где он был просто «мужчиной со скрещенными на груди руками» и узнавал себя на экране, где он был главным исполнителем. Все личное он скрывал в себе, но это не означало, что он лгал, он просто с тайным ликованием подтверждал все многочисленные неверные догадки, которые высказывались в связи с ним. Он шел на встречи с чужими людьми заранее собираясь, едва

взглянув на их лица – тут же и забыть, и у него нередко на прощание спрашивали: «Как, простите, ваше имя?..»

Обнаружив однажды снова «грохочущее чрево музыкального автомата», Зоргер превратился в игрока. При этом он стал многосторонним и заметил, что он теперь иначе – совершенно иначе – может быть всем чем угодно. Впоследствии, когда он вспоминал об этом, ему казалось, будто он в течение всех этих недель никого не понимал, но зато необычайно остро, как ни один игрок на свете, мог заранее предугадать реакцию другого. Он перестал ощущать моменты перехода от силы к слабости, которые прежде сообщали ему ощущение долговечности; он просто болтался, сопровождаемый звоном монет, по городу, где в витринах лежали осенние листья в качестве недвижимой декорации. Теперь его, судя по всему, вполне устраивало то, что он не стал профессиональным игроком и даже в своей повседневной профессиональной работе не производил ничего стоящего: наконец-то он стал, как и хотел того, осуществлять все свои действия с замкнутой лунатической серьезностью дилетанта; отгородившийся от всех, ни с кем не проводящий время, он чувствовал себя порою окруженным магической красотой.

Отрекшийся от нации и обойденный вниманием спокойных мировых религий, этот город на Западном побережье был цитаделью сект, где сплошь и рядом мелькали какие-то таинственные знаки. Никто ни с кем здесь не был связан родственными узами – просто они сходились случайными единомышленниками на час и спешно исчезали в своем кружке. Вот так и Зоргер однажды вечером вдруг очутился в длинной очереди и шаг за шагом стал продвигаться вперед, пока наконец не вошел в просторный затемненный зал, где он стоял теперь среди толпы, как и он поджидавшей певца, который был кумиром их общей юности.

Он оказался тут не потому, что его что-то сюда влекло, скорее он просто исполнил некий долг, самая мысль о котором была ему в тягость: уже давным-давно никакое третье лицо не могло больше представлять его интересов. Теперь ему нужны были скорее индикаторные формы организмов, которые, иначе чем заключительные звуки песен, пробуждали в нем представление о бесконечно повторяющемся начале, как, скажем, те первые сочинения, что были написаны много тысяч лет тому назад и умели так поэтически уговаривать вместо того, чтобы лишь холодно доказывать, как делается в работах по его науке, или взять те исследования форм, что проводились живописцами, в них он тоже мог потеряться, как и в музыке певца, но все же тут он довольно скоро снова обретал себя, при этом еще более укрепленным в самом себе.

Певец был небольшим мужчиной крепкого сложения, который производил впечатление необыкновенно сильного и совершенно отсутствующего. Он вышел на сцену, посмотрел на свет и тотчас же начал петь. С первой же руладой пространство вытянулось змеею, повторяя изгибы шнура от микрофона, который певец спокойно держал в руках. Его голос с самого начала звучал необыкновенно мощно, ему не нужно было набирать громкость. Он шел не из грудной клетки, он существовал независимо от нее как самостоятельное, прочное тело, не привязанное ни к какому месту. Голос звучал не как песня: он слышался скорее в виде звуков, исторгаемых тем, кто долго сдерживал свои невыносимые, невыразимые страдания и теперь вдруг не сдержался. При этом каждая его песня обретала звучание только в целом, и все они в отдельности дополняли друг друга, складываясь из стремительной, правда иногда спотыкающейся, все время возвращающейся последовательности пронзительных, жалобных, угрожающих (во всяком случае, без тени облегчения) криков боли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.